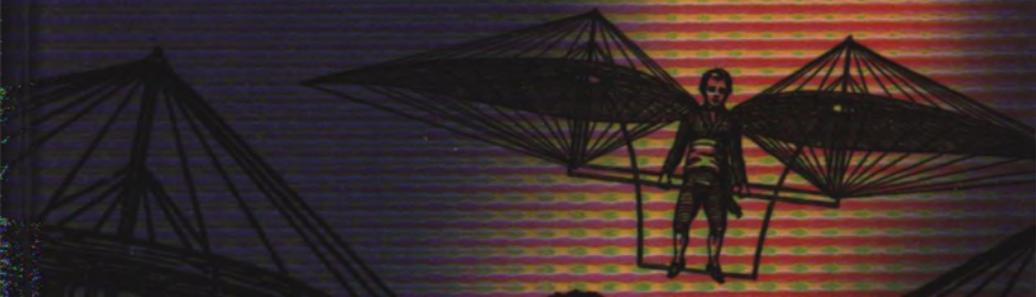


ГЕННАДИЙ ТРИФОНОВ

ДВА БАЛЕТА  
ДЖОРДЖА  
БАЛАНЧИНА



ГЕННАДИЙ ТРИФОНОВ  
Два балета Джоржа Баланчина

3



60



ГЕННАДИЙ ТРИФОНОВ

ДВА БАЛЕТА  
ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА

Из жизни доктора  
Ю. А. Ирсанова

*Роман*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ИНАПРЕСС  
2004

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6  
Т 69

Редакторы Н. Волкова, Н. Кононов .  
Художник М. Покшишевская

ISBN 5-87135-152-2

© Г.Трифонов, 2004  
© А. Пурин, послесловие, 2004  
© ИНАПРЕСС, оформление, 2004

У книг, как известно, как и у их авторов, бывают разные судьбы. Этой в России совсем не повезло. Её публикация была прервана в самом начале 90-х, как признавались мне некоторые читатели, «на самом интересном месте». Возможно, поэтому роман привлек к себе внимание западных переводчиков и издателей. В 1995 году роман появился в Англии, в 1997 году в США, был переведен в Швеции и в Германии.

*Автор считает своим приятным долгом публично поблагодарить всех тех людей, которые в течение многих лет поддерживали меня, помогли мне и продолжали верить в то, что еще при жизни автора эта вещь будет полностью издана в России. Без их участия настоящее издание было бы невозможно.*

*Вот эти люди: Саймон Карлински (США, Бэркли), Уинстон Лэйланд (США, Сан-Франциско), Кевин Мосс (США, Мидлбэрри), Чарлз Дж. МакДэниэл (США, Чикаго), Михаэль Хольм и Геурт Стаал (Швеция, Стокгольм), Андреас и Регина-Доротея Марикс (Германия, Берлин), Анна-Мария Фиоретти (Италия, Рим), Майкл Молнар (Англия, Лондон), Фредерик Меттеран (Франция, Париж), Константин и Эмма Кузьминские (США, Хэнкук, шт. Нью-Йорк), Руфь Зернова (Иерусалим, Израиль), Павел Черноморский (радиостанция «Свобода», Москва-Прага).*

*Памяти Давида Яковлевича Дара —  
моего учителя*

«Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне... Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к общительности печальнейшим образом парализуется страхом сказать нечто нескромное, не подлежащее огласке».

*Томас Манн «Доктор Фаустус»*

Поскольку в настоящую минуту ничего замечательного о своем герое мы читателю сообщить не имеем и даже не можем внятно объяснить причины, побуждающие нас начать наше повествование, скажем только, что Ирсанов, или, как он официально именовался на своих визитках, доктор филологических наук Юрий Александрович Ирсанов был сегодня в отличном расположении духа. При всеобщем унынии, охва-

тившем эту огромную страну, находиться в подобном настроении, согласитесь, было даже как-то не вполне прилично. Но Ирсанов был так чудесно устроен, что посторонние вопросы, а к ним он относил вопросы общественной нравственности, экономики и политики, его совершенно не занимали, тем более, что в самом конце 80-х все они сами отодвинулись на обочину нашей жизни.

Он уже давно отказался, и с полным к тому основанием, от чтения каких-либо газет, сохраняя, правда, верность некоторым толстым журналам, никогда не включал радио, очень редко телевизор, и о происходящем у себя в отечестве узнавал во время прогулок с собакой, а о происходящем в мире — из заграничных писем своих друзей, в разные годы, но по одним и тем же причинам разлетевшихся в разные стороны света. И если было отчего Юрию Александровичу унывать (а русскому человеку всегда есть отчего приунуть дома или на чужбине), то Ирсанов от этого всячески уклонялся.

И о спасении — а именно этим занято сейчас все русское общество — он тоже как-то не особенно задумывался и находил свое спасение в работе, которой умел отда-

---

ваться со всей горячностью сердца и прохладой ума. Вот и теперь он наконец-то завершил работу над рукописью будущей книги, заказанной ему издательством «Наука» еще лет пять тому назад и посвященной исследованию некоторых особенностей старофранцузского языка и средневековой поэзии. Скажем больше: последний корректурный знак рукописи был поставлен Ирсановым в день собственного сорокапятилетия, то есть в том возрасте, когда у человека, склонного к фантазированию, а за Юрием Александровичем водилось и это, все еще есть некое будущее, правда, теперь более обращенное в прошлое, хотя Ирсанов и не принадлежал, по выражению одной своей приятельницы, к людям «мемурного свойства». Что же до будущего, то отныне девизом Ирсанова было слово «успеть» — успеть сделать то, что входило в его научные и художественные намерения и планы, ибо Ирсанов кроме солидных монографий и статей писал кое-что, как он говорил, «в стол», но мы этих его писаний не знаем, а зная довольно хорошо самого Юрия Александровича, можем только догадываться, что в столе у него лежали не какие-нибудь стишки, которыми он, впрочем, никогда не баловался, а какая-нибудь про-

---

за. Потому что в чужой прозе Ирсанов ценит занимательную обстоятельность и несколько лет тому назад написал солидную книгу на материале одного немецкого автора как раз об этом и, кажется, выезжал даже на родину этого автора, в причудливый город Любек, с лекциями о немецком духе, чем сильно позабавил самих любекцев, вот уже много десятилетий гордых близостью к своему великому земляку.

Теперь, когда мы сообщили о нашем герое кое-какие сведения, мы чувствуем необходимость хотя бы бегло описать его внешность.

Ирсанов был высок ростом, худощав и природно строен, даже спортивен. Он носил всегда короткую стрижку и пушистые, но короткие усы, желтеющие у губ от беспрестанного курения, некоторая даже мужественная грациозность сохранили в облике Ирсанова много юношеских черт, и это притягивало к нему взгляды чувствующих мужскую красоту женщин: или очень молоденьких, еще только ступающих на стезю телесных наслаждений, или тех, чей чувственный опыт был богат подлинными открытиями, делать которые хотелось бы

---

до последнего вздоха. Ирсанов всегда был предметом их волнений — и в студенческо-аспирантские годы, и в годы своего преподавания в университете, и вот теперь, когда, «выйдя на вольные хлеба», он оставил ненавистный ему университет. «Боже, да они всюду!», — думал порой Ирсанов в общественном транспорте и потому очень скоро купил себе машину.

В молодости он выглядел всегда просто и строго, в зрелые годы стал одеваться дорого и добротно. На этом настояла жена Юрия Александровича и тем самым привила ему вкус к хорошим рубашкам, галстукам, джемперам и курткам, которые или покупала ему сама, или заставляла привозить из-за границ. Все это помогло Ирсанову выработать свой стиль и оставаться элегантным даже в домашнем халате. И, разумеется, еще более возбуждало вышеупомянутых женщин, о чем жена Юрия Александровича хорошо знала, но во внимание не принимала, поскольку он никогда — и в это даже как-то трудно поверить! — не давал ей к тому повода. Любившая мужа до сверхъестественного обожания (Ирсанов был ее первым и единственным

мужчиной, которому она очень скоро после замужества подарила двух очаровательных девочек-двойняшек), жена Ирсанова никогда не давала себе труда задуматься о причинах столь необыкновенной верности мужа и относила их на счет собственных достоинств, которыми она и в самом деле обладала — не была умна, была очень практична, не курила и не пила, была примерной женой и отличной матерью. Но пять лет тому назад Ирсанов вдруг ушел от жены, оставив ей большую кооперативную квартиру, библиотеку и любимую машину. Он сделал это сразу же по своим возвращении из Америки, где находился шесть месяцев в качестве профессора Калифорнийского университета в Бэркли. Там он читал лекции о русском серебряном веке и попутно защитил докторскую о поэтике Клюева и Есенина. Пустившись в своей диссертации в разнообразные рассуждения об отношениях между ними, он первым среди отечественных литературоведов выдвинул доказательную гипотезу о насильственной смерти Есенина, о чем в России — видимо, из нашей всепоглощающей любви к искусству — нельзя было даже заикнуться. Диссертация имела успех и очень скоро, «еще при жизни диссертан-

---

та», была издана в Соединенных Штатах отдельной книгой, иллюстрированной редкими документами и фотографиями, разысканными Ирсановым в Техасском институте русской культуры и в Библиотеке Конгресса. Написанную им по-английски книгу Ирсанов уже дома очень скоро перевел на русский в надежде на публикацию хотя бы фрагментов в каком-нибудь нашем либеральном журнале. Однако всюду получил вежливые и мотивированные отказы с приглашениями заходить в будущем. Но Ирсанов жил настоящим, и в этом смысле будущее рисовалось ему не менее дремучим.

День рождения Ирсанова пришелся на субботу. Необходимости отмечать это событие он не видел. Он спланировал провести день в обществе своей матери и теперь подумывал о том, чтобы пройтись на рынок за цветами для нее и, если удастся, купить для нее же каких-нибудь фруктов. Но тут раздался телефонный звонок. Ирсанов в раздражении взял трубку, потому что совсем не хотел сейчас принимать поздравления от кого бы то ни было и менее всего «от жены и деток». Но очень скоро Юрий

Александрович успокоился, узнав в трубке голос своей давней приятельницы, а теперь, пожалуй, и единственного друга (в мужские дружбы Ирсанов давно уже не верил) Лидии Ивановны Завадской.

— Юра, милый, — начала Лидия Ивановна по своему обыкновению сразу и решительно, — у меня пропадают два билета на сегодня в Кировский, на Баланчина. Это у них премьерный спектакль. Вот вам случай развлечься. Я пойти не могу, лежу вся в простуде, а муж в Москве. Так что?

С Лидией Ивановной Ирсанов познакомился и, несмотря на солидную разницу в годах, сразу сдружился еще быв аспирантом последнего года. Лидия Ивановна тогда «слегка преподавала» французский на кафедре романской филологии и курировала подающих надежды молодых людей с ирсановской внешностью. Так она «убивала время» в ожидании нового назначения своего мужа-дипломата, обретавшегося то в Париже, то в Лондоне, а в последние годы, и это уже вместе с супругой, почти безвылазно сидевшего в Вашингтоне по прихоти своего друга и шефа — долголетнего советского посла в Америке, интеллигентного и мягкого Добрынина. Завадские были богаты и бездетны и потому очень

---

привязались к молодому дарованию в лице Ирсанова. Впрочем, сам Завадский, европейски образованный, читавший по памяти Овидия звучной латынью, крепко сдружился с отцом Ирсанова, ныне покойным университетским профессором классической филологии. Одним словом, Лидия Ивановна и Юрий Александрович были, что называется, родными людьми и Лидия Ивановна часто воображала себя confidentкой Ирсанова на том основании, что однажды, еще лет двадцать тому назад, Ирсанов как-то признался Лидии Ивановне, что ненавидит свою жену. «Это бывает, — утешила его Лидия Ивановна и пояснила, — Между вами, Юрочка, не было романа. Вот вы теперь попробуйте ей слегка изменить. Иногда это лечит. Во всяком случае мне это очень, очень помогало».

Если читатель несколько удовлетворился нашим беглым описанием облика нашего героя, то изобразить внешность Лидии Ивановны мы решительно отказываемся. Существующее мнение о том, что внешность женщины — самая быстрочитаемая страница книги, которую жизнь пишет о каждом из нас, к Лидии Ивановне не имеет никакого отношения. Раз задержавшись в неопределенном возрасте, имея к тому

---

ряд материальных предпосылок, Лидия Ивановна была в этом возрасте и царственная и прекрасна. Те части ее организма. Которые — по идее — должны были бы сами собой отмирать, как-то сами собой оживлялись ее острым и быстрым умом и тонким художественным вкусом, складывавшемся в Париже и завершившимся в Нью-Йорке. И что еще представляется нам важным сказать в связи с Лидией Ивановной, так это то, что среди окружавших Лидию Ивановну женщин она ни в ком не вызвала так частую между женщинами зависть или досаду. Или даже неприязнь. И к чести Лидии Ивановны надо сказать, что она никоим образом не выпячивала свою исключительную долю умной и обеспеченной дамы, а держалась со всеми ровно и достойно, в глубине души страдая и сочувствуя бесконечному числу русских женщин, и порой даже стыдилась себя и своего достатка на фоне всеобщей нищеты и всяческих нехваток, превративших советскую женщину в «нечто невыносимое».

Ирсанов любил любой разговор с Лидией Ивановной и теперь с удовольствием ее слушал. Он любил ее низкий грудной, чуть грассирующий голос, не менявшийся с годами, хотя Лидия Ивановна тоже много и

---

давно курила, предпочитая «всему на свете» только «Беломор», который выписывала из России, находясь вдали от нее.

— Так что, Юра? Что вы молчите? Алло!

— Да, пожалуй... Пожалуй, пойду... Спасибо вам, Лидия Ивановна. Конечно, пойду! Но только зачем мне два билета?

— На всякий случай, — утешительно сказала Лидия Ивановна. — У вас второй оторвут с руками. Это не проблема.

— Тогда я сейчас приеду.

— Да-да, дорогой, именно сейчас, поскольку у меня в четыре массажистка.

Давно позабыв собственный день рождения, а главное — его год, Лидия Ивановна не трудилась помнить дни рождения своих друзей (хорошо, однако помня, что ее собственный муж был моложе ее на целых десять лет), поэтому ей не было нужды поздравлять Ирсанова с юбилеем, а ему — выслушивать порцию дежурных словосочетаний. Ирсанову вдруг вспомнился очередной афоризм Лидии Ивановны, произнесенный ею в день сорокапятилетия Юрия Александровича, когда он пожаловался ей на свой возраст: «Стариков, мой милый, надо убивать, пока они молодые. Бог с вами, Юра, оставайтесь несносным, но не будьте невыносимым».

---

В зрительной и сердечной памяти Лидии Ивановны Ирсанов все еще оставался юным аспирантом с чертами греческого подростка и с годами, ей казалось, он почти не изменялся или ей просто не хотелось замечать этих перемен в нем. Очень возможно, что Лидия Ивановна была даже «слегка влюблена» в Ирсанова, но самой себе она в этом никогда не признавалась и потому легко увлекалась кем-то другим, на что ее муж смотрел, что называется, сквозь пальцы, иногда ласково укоряя супругу: «Ты, мамочка, по-моему, опять шалишь». «Разве? — изумлялась Лидия Ивановна и извинительно целовала мужа в высокие виски, — Но он так пленительно талантлив, этот молодой человек!» — «Я в этом не сомневаюсь», — констатировал муж Лидии Ивановны и срочно собирал свои и ее чемоданы «подальше от греха». За границей же Лидия Ивановна по известным причинам была лишена возможности «шалить», хотя кого-нибудь непременно курировала — какого-нибудь молодого стажера из Москвы, за что умудрилась получить несколько благодарностей как от самого курируемого, так и от самого Андрея Андреевича, ставившего в пример женам советских дипломатов высокого ранга патриотические

---

чувства Лидии Ивановны. «Ну ты, мамочка, и стерва у меня!» — восхищался женой вице-посол Заславский, на что Лидия Ивановна всякий раз отвечала мужу: «Служу Советскому Союзу, друг мой!»

После развода с женой Ирсанов жил теперь на Васильевском острове в квартире своих родителей, в красивом доме старинной постройки, всеми высокими окнами выходившем в Румянцевский сад. Он с рождения и до женитьбы занимал свою маленькую комнатку, но теперь, после смерти отца, расположился в его большом кабинете с массивным письменным столом и таким же диваном с высокой спинкой, обитым темно-коричневой, кое-где уже лопнувшей кожей, с высокими книжными стеллажами и тяжелой бронзовой люстрой в три рожка-колокольчика приятного матового стекла. По углам кабинета стояли консоли красного дерева, на которых возвышались мраморные головы Сократа и Платона. Стены кабинета были украшены гипсовыми медальонами с лепкой на античные сюжеты. Пол кабинета был устлан выдавшим виды, но все еще прочным ковром малинового поля, по которому аккуратно рас-

---

положились геометрические квадраты светлых тонов с глубокими синими точками посередине. Все в этой комнате располагало к тому образу жизни и мыслей, которые и составляли смысл существования и деятельности Ирсанова старшего. Ныне мы не беремся назвать хотя бы приблизительное число подобных этой истинно петербургских квартир и, рассматривая сейчас ее комнаты и интерьеры, изумляемся тому, как удалось все это столь бережно сохранить сквозь кошмар разнообразных разрушений, голода и войн, смертей и репрессий, горя и болезней...

Родители Юрия Александровича никогда и ни при каких, даже самых трагических обстоятельствах не покидали своего гнезда и более полувека прожили в этой квартире, в этом доме в тихом и добром супружестве. И все самое лучшее, самое светлое и самое личное Ирсанов связывал с родительским домом, а заведя свой, беспрестанно тосковал по этим комнатам, потому что даже самый их запах, цвет вечных обоев и паркетный скрип говорили душе Ирсанова больше всех прочитанных книг, увиденных городов и стран. По-настоящему хорошо, покойно и свободно было ему только в этих стенах, и когда он возвратился сюда,

---

между ним и его старушкой-матерью установилась давняя традиция совместного вечернего чая в ее комнате, Ирсанов снова увидел себя школьником и студентом на их большой кухне, где мама и бабушка варят в ярком медном тазу душистое клубничное варенье, угощая Юру и его друга Илюшу вкусной клубничной пенкой, пусть даже еще и горячей. Только здесь, в этом доме, вернувшись сюда вновь, взрослый, слишком уже взрослый Ирсанов обнаружил в себе склонность к воспоминаниям тридцатилетней давности, ставшим вдруг единственно дорогими. Тут только Ирсанов и понял, что вся предыдущая его жизнь, предшествовавшая разводу с женой, была ошибочной и нелепой, ложной, не принадлежавшей ему, Ирсанову, ни одной своей минутой, поэтому последние пять лет, живя одиноко и почти затворнически, он только и жил своей жизнью и был свободен. Но счастлив ли?..

Добраться до Лидии Ивановны, жившей на Петроградской стороне, в старинном особняке в Ординарной улице, было Ирсанову «раз плюнуть». Он посмотрел на часы, затем подошел к окну, отодвинул тя-

желую штору и убедился в том, что на дворе стоит обыкновенная поздняя петербургская осень. Он натянул на себя свитер, обвязал шею длинным шерстяным шарфом, скоро просунул руки в рукава утепленной кожаной куртки, почти на ходу сунул ноги в микропористые ботинки и выбежал на улицу. Уже усевшись в попутную «Волгу», он сообразил, что было бы пристойно явиться к Лидии Ивановне «с цветочками», поэтому купил у ближайшей станции метро пук гвоздик. Через каких-нибудь двадцать минут он уже поднимался по широкой лестнице дома Лидии Ивановны.

Лидия Ивановна встретила Ирсанова, «минуя макияж», в шумном японском халате черного шелка с большими по черному белыми иероглифами:

— Знаете, что здесь написано? На спине, на спине! — весело сделала она свои вопросы.

— Даже не догадываюсь!

— Здесь написано: «Я вся твоя», — сообщила Лидия Ивановна, заливаясь своим бесподобным смехом.

— А почему именно на спине? — полюбопытствовал Ирсанов, вручая свои гвоздики и в самом деле интересуясь этим об-

---

стоятельством.

— Ну, знаете ли, сердцу не прикажешь,  
— мгновенно нашлась Лидия Ивановна,  
подавая Ирсанову билеты в театр.

— Сколько я вам должен? — спросил Ирсанов, потянувшись за бумажником в задний карман джинсов.

— Да оставьте вы эти глупости, Юра! Как вам не стыдно! Да и билеты достались мне даром, в виде взятки за массажистку, которую я одолжила Табачник. Вы ее знаете?

— Кого, кого? — спросил Ирсанов.

— Да Людочку Табачник.

— Впервые слышу.

— Господи, какой вы, однако, — совершенно искренне огорчилась Лидия Ивановна. — Весь мир знает, он — не знает! Людмила Александровна Табачник в застойные годы защищала диссидентов, а ныне юридически обслуживает сексуальные меньшинства.

— Кого, кого? — не понял растерявшийся Ирсанов, но Лидия Ивановна на сей раз пощадила своего друга:

— Ступайте с Богом. Сие не про вас. Желаю приятного вечера. Телефонуйте впечатления. Благодарю за цветы, — снисходительно проговорила она, притягивая к

себе для всегдашнего поцелуя красивую голову Юрия Александровича.

Случаю пойти «на Баланчина» Ирсанов очень обрадовался. Он знал, понимал и — главное — чувствовал балет, и все никак не мог себе простить, что в Америке не удосужился сходить хотя бы на один спектакль «Нью-Йорк сити бале», несмотря даже на дороговизну этого удовольствия. Он дважды был в знаменитой опере в Сан-Франциско, слушал Филадельфийский симфонический оркестр, но американский балет так и не увидел. После Европы Ирсанов пришел в ужас от Нью-Йорка и все свои дни там проводил в Публичной библиотеке или в номере своего отеля с симпатичным названием «Тюдор», что совсем рядом с Истривер и зданиями ООН. Номер в этой милой гостинице был заранее заказан Ирсанову пригласившим его в Америку университетом, и он мог провести в Нью-Йорке две недели, но самостоятельно сократил этот срок, буквально через пять дней позвонив в Калифорнию с сообщением о своем как бы преждевременном туда прилете. Пару раз Ирсанов попытался выйти из отеля под вечер, чтобы посмотреть знамени-

---

тые огни Бродвея, 42-й улицы и 5-й авеню, но едва выйдя, очень скоро возвращался обратно: вой полицейских сирен, почти полное отсутствие людей и что-то еще, чему он не мог найти имени и определения, неприятно действовали на Ирсанова, и под конец своего пребывания в Америке ему меньше всего хотелось возвращаться в Европу через Нью-Йорк.

По дороге от Лидии Ивановны Ирсанов зашел на Василеостровский рынок и купил там для матери то, что планировал. Еще не было и пяти часов вечера, поэтому Ирсанов мог не торопясь собраться в театра. После его возвращения в лоно родительского дома его прямой обязанностью было погулять с любимым пуделем матери, уже довольно древней Жоли\*, которая, лежа на своей кушетке в их просторном коридоре, возвращение Ирсанова восприняла без всякого энтузиазма.

— Да не тащи ты ее, друг мой, по такой погоде, — вяло взмолилась мать Ирсанова, отрываясь от свежих «Аргументов и Фактов». — Вернешься и сходишь.

---

\* Жоли — по франц. — красавица.

---

— Да пусть пройдет. Меня ведь долго не будет. — И Ирсанов принудил бедную Жоли облачиться в ветхий ошейник и «сделать свои дела» непосредственно в Румянцевском саду, с некоторых пор утратившем свое бывшее великолепие и превратившемся в подобие площадки для выгула собак и детей.

— Как, вы уже? — обращаясь к Жоли и сыну, спросила старушка, прежде препятствовавшая их прогулке. — Помой ей лапы, а то грязь нанесет, вчера только «Невские зори» все полы натерли. Да дай ей что-нибудь пожевать. Она у меня приучена с прогулки что-нибудь пожевать. Возьми в холодильнике котлетку.

По нынешним временам «взять в холодильнике котлетку» было довольно мудро, но Ирсановы мясо не ели и потому для Жоли в холодильнике всегда лежала натуральная котлетка, изготовленная в угоду беззубой собаке из купленного на рынке мясного кусочка, причитающиеся же Ирсановым мясные и колбасные талоны мать отдавала дворничихе, приходившей через день подметать квартиру и выносить мусор, за что, кроме пресловутых талонов, получала твердое жалование, а за дополнительную плату помогала старуш-

---

ке принимать два раза в неделю ванну.

Он положил перед уже задремавшей Жоли «котлетку». — Ну и слава Богу. Пусть теперь спит до ночи. И укрой ее, друг мой, пледом... А ты сам-то когда намерен вернуться? Я усну без тебя, ты только оставь мне мои капли и мое снотворное. Да свет не гаси, ты же знаешь, я не люблю потемки.

Выполнив требуемое, Ирсанов быстро переоделся и вышел из дома.

До начала спектакля оставалось еще довольно много времени, но Ирсанову не сиделось дома и он решил отправиться в театр пешком по сотню раз хоженному маршруту. Выйдя из дому, он был приятно удивлен тем, что осеннее небо понемногу расчистилось от тяжелых туч, и ввиду усиливающегося похолодания далеко за бывшим Николаевским мостом, который мать Ирсанова все никак не могла привыкнуть называть мостом Лейтенанта Шмидта, зарделось последнее в это время суток солнце, отчего смуглые сфинксы напротив Академии художеств и некоторые фонари на мосту вдруг посветлели и даже засияли. Ирсанов посмотрел в сторону солнца, слегка

---

сощурился и улыбнулся. С ним часто бывало так: не имея никаких особенно веселых мыслей, он дружественно чему-нибудь улыбался — ребенку в коляске, взлетевшей из-под ног птице, старикам, играющим в саду в вечное домино на солнечной скамейке... Из всех времен года Ирсанов особенно любил весну и начало лета, но случалось, что он бывал улыбчив и осенью, и зимой. Такая внезапная улыбка могла появиться на его лице помимо его воли и желания; кажется, что у нее была своя жизнь и судьба. Знавшие и любившие Ирсанова люди любили в нем эту его улыбку, а люди случайные и посторонние, бывало, тоже откликались на нее, и тогда Ирсанов начинал думать о людях все самое лучшее, часто заблуждаясь на их счет, но он об этом не знал, и люди об этом не знали и не хотели знать.

К Театральной площади Ирсанов решил идти в обход. Перейдя мост и Английскую набережную, Ирсанов вышел к зданию Дворца Труда, бывшему Ксенинскому институту, а первоначально дворцу великого князя Николая Николаевича старшего — изумительному творению Штакеншнейдера, построенному в 40-х годах прошлого века. Ирсанов любил эту часть старого города и теперь, стоя лицом к бывшему вели-

---

колепию Новой Голландии, не хотел замечать упадка из-за окружавших площадь дворцов, особняков и бывших коммерческих зданий, в которых с жутких 30-х годов помещаются центральные и областные комитеты профсоюзов.

Обогнув советские профсоюзы, Ирсанов вышел на Конногвардейский бульвар и пошел по нему, затем свернул в сторону Почтамтской улицы. Перейдя Мойку, он оставил за спиной место бывшего Литовского рынка, на месте которого высилось уродливое здание в конструктивистском стиле, называемое Домом культуры имени Первой пятилетки, и хотя Кировский был уже совсем рядом, Ирсанов решил еще прогуляться по бывшей Большой Коломне, расположенной между проспектом Римского-Корсакова, Крюковым каналом, Мойкой и Большой Невой. Когда-то эта местность была одной из наиболее низких в Петербурге и до середины прошлого века называлась Козьим болотом. В начале XVII века здесь был еще лес, в котором проводились по указанию Трезини просеки — нынешняя улица Декабристов и улица Союза Печатников. Ирсанов хотел было вернуться обратно, поближе к Ново-Адмиралтейскому каналу, в бывшую Галерную улицу и

---

полюбоваться там останками большой барской усадьбы, построенной для графа Бобринского, сына Екатерины и Григория Орлова итальянцем Луиджи Руска; но, посмотрев на часы и поежась от холода, зашел в какую-то пирожковую — полупустую и не слишком чистую. Он взял два стакана напитка, называвшегося «кофе с молоком», и отойдя к дальнему столику, стал медленно пить этот нестерпимо горячий «кофе».

Ему являлись разные мысли и воспоминания, связанные с этими местами города, и он еще раз подумал, сколь невыносимой мукой была для него семейная жизнь в их новой квартире в противном Купчино, где в скверно построенных домах жили какие-то «вечно скверные люди», покупавшие в универсамах скверную пищу и пившие на каждом углу скверное пиво и еще более скверное вино, и как постоянно сквернословили дети этих скверных людей, лаяли и кусались их скверные собаки, орали и пищали их кошки... «Господи, — подумал Ирсанов с горечью, — как мог я прожить там свою жизнь, в этом кошмаре! Как было мне хорошо здесь, здесь и у себя на Васильевском! Но здесь было прекрасно!».

Ирсанов хорошо знал, почему было ему здесь прекрасно. Тогда почти все улицы и

---

проспекты старого города были покрыты булыжником, сквозь который ранней весной пробивалась травка, а все петербургские дворики, пусть даже и колодцы, в летнюю пору были зелены, выходявшие во дворы окна были украшены деревянными ящиками с настурцией, пионами и георгинами. Машин было еще мало, и по всем улицам, включая даже Садовую, ездили подводы, запряженные красивыми лошадьми, а с оглоблей этих подвод, развозивших по городу продукты и всякую всячину, свисали кожаные кисти и сверкали на солнце медные бляхи конской упряжи. Мальчишки цеплялись за эти подводы и катались. Еще они катались — и вместе с ними Юра Ирсанов! — на трамвайной «колбасе». И жизнь была не слишком богатой, но для большинства детей вкусной, потому что на каждом углу можно было купить себе и другу горячий пирожок с вареньем, сахарную трубочку, эскимо на палочке или прозрачного сахарного петушка и обойтись, делая все эти покупки, всего лишь рублем. Им и давали — ему и его другу Ильюше Левину — не больше рубля, а в праздники даже трешку или пятерку. И мальчишки гуляли! А когда Юре Ирсанову исполнилось шестнадцать лет, отец, мать и бабушка (правда, ба-

---

бушка потом добавила еще десятку) пода-  
рили ему по десять рублей. Целое по тем  
временам состояние! Что же он купил тог-  
да на эти деньги? Ах, да, первые в своей  
жизни джинсы, они тогда назывались «те-  
хасами». А когда он надел эти новенькие  
джинсы, Илья не мог оторвать от Ирсано-  
ва глаз и все говорил: «Ты, Юра, в них пре-  
лесть».

Короткая прогулка с Васильевского в  
Большую Коломну и теперь вот этот горя-  
чий напиток как бы размягчили Ирсанова.  
Он расстегнул плащ и стал смотреть в окно,  
на проходящих мимо людей — большею  
частью студентов расположенного рядом  
физкультурного института, красивых и  
стройных, в ярких спортивных куртках и  
в джинсах. Некоторые из них, заходили в  
пирожковую, и тогда Ирсанов чувствовал  
свою неуместность здесь, какую-то нелов-  
кость, но он не мог бы объяснить себе ее  
причин и продолжал, должно быть с весь-  
ма глупым видом, прислушиваться к их мо-  
лодым голосам и смотреть на них, иногда  
даже излишне пристально. Один из юно-  
шей оказался очень похожим на друга его  
детства Ильюшу Левина — такой же не-  
большой ростом, по-пушкински кудрявый,  
с яркими веселыми черными глазами, в

---

светло-голубых джинсах, обтягивающих его сильные и стройные ноги. У Ирсанова даже защемило сердце от сходства этого случайного паренька с тем давним Ильей. Но, слава Богу, парень быстро проглотил два своих пирожка, почти на ходу допил «кофе» и, вылетев пулей из пирожковой, легко побежал за подошедшим к остановке автобусом. А если бы этого не произошло, то, пожалуй, Ирсанов все сидел бы и сидел в этой пирожковой и все смотрел бы на студента и, верно, опоздал бы на Баланчина. Он посмотрел на часы. Времени в запасе было еще порядочно. Он встал, застегнул плащ на все пуговицы и вышел на улицу.

Сейчас он почему-то подумал о том, что вот, он, поездил по свету, а нигде, кроме России, не видел такого множества красивых людей — мужчин и женщин, особенно среди молодежи. «Ах, если бы, — думал Ирсанов, — все они были пристойно одеты и эта одежда отвечала бы их возрасту, темпераменту, их готовности любоваться собой, любоваться друг другом, если бы их поведение было пристойным, слова — правильными и потому красивыми, и все дурное и пошлое, что составляет теперь общую физиономию современной молодежи — такой беззащитной и никому не нужной, —

---

отошло бы в сторону, оставив юности ее прелесть и доверие к миру. А так... А так на них жалко и стыдно смотреть даже тем, кто сделал эту молодежь такой — агрессивно-послушной любому вздору. Нет-нет. Мы были совсем другими, совсем другими!»

Мысли Ирсанова о том, что «мы были совсем другими, совсем другими», соединились сейчас с обликом кудрявого студента в синих джинсах, и вдруг он почувствовал, как забилося сердце, как образовалась в нем смутная боль, как перестал он ощущать прохладность этого вечера, позабыл даже про театр и не очень понимал, куда несут его ноги, как он очутился вдруг в Никольском сквере, как вышел из него к Крюкову каналу, как оказался на прохладной скамейке подле высокой колокольни Никольского собора, созданной учеником знаменитого Растрелли Чевакинским будто специально для того, чтобы небесной красотой своего творения на вечные времена оживить эту воду в канале, и эти деревья, и эти здания по его берегам...

Он попробовал закурить, но вкус табака показался ему сейчас неприятным. Он резко встал и пошел в сторону Театральной площади. Он шел намеренно быстро, поэто-

---

му проследить скоростной ход мыслей Ирсанова мы бы не смогли даже при всем желании. Он думал сейчас не обо всем сразу, как иногда бывает при быстрой ходьбе, а только о том, что «мы были совсем другими», то есть он вспоминал себя в юности, вспоминал саму юность, и не университетские годы, но ту свою юность, которая привычно называется первой, и воспоминания о которой остаются в душе самыми сильными на всю последующую жизнь именно потому, что в первой юности мы получаем от жизни первые впечатления, и живем ими и с ними, даже не догадываясь об их бессмертии, и если бываем в жизни счастливы или несчастливы, то не в последнюю очередь благодаря тому, как помним и понимаем эти первые впечатления. Возможно, поэтому мы можем предположить, что сейчас Юрий Александрович Ирсанов, — пожалуй, впервые в своей жизни, — задумался над тем, чтобы понять наиважнейшее — был ли он счастлив с тех давних пор, и если был, то почему не остался этим счастливым человеком, что было тому виной и помехой, и чем можно было бы оправдать сиюминутное смятение его души, и есть ли способ вернуться к тому давнему счастью?.. Эти вопросы вставали теперь перед

---

Ирсановым с неведомой прежде неотвязностью и обязательностью. Ответить ни на один из них он не мог — ни прежде, ни теперь. Нужно было бы перевероршить каждый день и час своей жизни, а для этого у Ирсанова никогда не было ни времени, ни нужды, поэтому он вновь машинально посмотрел на часы. До начала спектакля оставалось чуть более часа, а он уже стоял у театрального подъезда возле телефонных будок, под часами. Зачем?

Теперь он стоял под театральными часами почти без всяких мыслей. Вкус сигареты теперь уже не казался ему неприятным. Ввиду явного похолодания он пожалел о том, что не надел свою любимую кепку (шляпы Ирсанов никогда не носил, хотя по теперешней моде шляпа была бы ему очень к лицу в сочетании с его элегантным черным плащом) и потому поднял сейчас воротник плаща. Не поворачивая головы, Ирсанов оглядывался вокруг себя: яркие огни фонарей и шумно катящихся по рельсам трамваев, машин и автобусов веселили его тем, как скоро они перемешивались между собой. Возле театра, несмотря на раннее перед спектаклем время, уже ско-

---

пились театралы в надежде купить лишний билет.

Ирсанов вспомнил о втором своем билете не сразу, а если бы и вспомнил, то не сообразил бы как продать этот билет, поскольку во всю свою жизнь еще ни разу никому ничего не продал и даже не знал как это делается. Ирсанов либо отдавал ненужную ему вещь тому, кто в ней нуждался, либо инициативу реализации такой вещи брала на себя жена Юрия Александровича — женщина практичная во всех отношениях. Он на миг вспомнил о жене и неприятно поморщился, а через мгновение улыбнулся вдруг с мыслью о своей свободе. Но чем она, эта свобода, была для Ирсанова, он все еще не знал, потому что был более озабочен не ее применением, а тем покоем и наслаждением одиночеством, которые она, эта свобода, давала ему во всякую минуту. Более того, расставшись с женой, Ирсанов только тогда и понял вполне, что создан природой именно для той жизни, которую он теперь вел и ужасно дорожил этим.

Скопление людей у театра несколько удивило Ирсанова. Правда, кроме Кировского и Филармонии, он нигде больше и не бывал, но от Лидии Ивановны — большой театралки — знал, что современный рус-

---

ский театр переживает сейчас эпоху своего упадка, а повседневная жизнь так театрализована, наполнена такими шекспировскими страстями, что люди в своем большинстве потеряли интерес к театру, и даже спектакли в БДТ — об этом Ирсанов тоже узнал от Лидии Ивановны — со смертью его главного режиссера стали проходить при почти пустом зале. Но Ирсанову было неинтересно убеждаться в этом, ибо он не любил драму, в БДТ во всю свою жизнь был только два раза и всегда предпочитал лучше прочесть хорошую пьесу, нежели увидеть ее на подмостках. Но балет! Балетное искусство имеет чудотворную силу притягивать к себе зрителя, передавать ему чувственность, утончает зрение, послушное, как и всякое человеческое движение, одной только музыке. И Ирсанов был искренне рад возможности побывать сегодня в театре, потому что в свое время он много и жадно читал о хореографии Баланчина, хорошо знал его счастливую биографию и даже то, что почти все свои хореографические идеи Джордж Баланчин черпал из кошачьих — да-да! — движений и повадок, и его дом в Америке всегда был наполнен разными кошками. Ум и грациозность кошек говорили Баланчину

---

больше, нежели советы Дягилева и художественные открытия Петипа.

Размышляя об этом Ирсанов совершенно не заметил, как к нему подошел молодой человек, на вид совсем еще мальчик — небольшого роста, с изящной головкой, без шапки, аккуратно подстриженный, в молодежной серого сукна куртке и в черных брюках, быть может, немного узких, но дополнительно доказывающих стройность ног.

— У вас есть лишний билет на сегодня? — вежливо обратился юноша к Ирсанову, а так как разница их ростов была довольно существенной, мальчику пришлось слегка закинуть голову. На Ирсанова смотрели глаза мальчика — доверчивые, украшенные медленными ресницами и тонкими бровями, и он, Ирсанов, сразу пленился этими глазами, матовым цветом лица, щеки которого, освещенные высоким уличным фонарем, удивили Ирсанова тем, как ровно они покрыты шелковистым пушком. Ирсанов не сразу нашелся что ответить, потому что к этому времени совсем позабыл о втором билете.

— Что? Билет? Ах, да, конечно, — скороговоркой ответил Ирсанов и, быстро расстегнув все пуговицы плаща, стал искать

билет по карманам. — Вот он, — сказал Ирсанов, найдя оба билета. Оторвав второй билет, Ирсанов протянул его мальчику. Но прежде чем взять протянутый билет, юноша спросил:

— А сколько он стоит?

— Да тут написано. Вот здесь. Четыре пятьдесят.

— О, простите, — с волнением в голосе сказал мальчик, обворожительно улыбаясь, — для меня это дорого. Извините. — И мигом скрылся в толпе входящих в театр зрителей.

Настаивая на том, что театр начинается с вешалки, великий Станиславский ни в грош ни ставил фойе, а напрасно. Именно в фойе видим мы множество лиц, приготовленных к театральному действию предварительным созерцанием самих себя и друг друга.

Но Ирсанову было сейчас не до наших рассуждений. Он бросился искать юношу именно в фойе, в эту минуту заполненном счастливыми, у которых имелся билет на Баланчина, и теми, кто все еще надеялся на лишний билет. И тех и других было предостаточно. Но в фойе Ирсанова подстерегала обычная в эту пору года неудача — за-

---

потевшие с холода линзы очков. Ему потребовалось оборвать свои поиски, отойти к ближайшей стене, вытащить из брючного кармана платок и протереть очки. Эта необходимость как бы отрезвила Ирсанова, в голове его пронеслось: «Что со мной такое?! Ведь это неприлично! Крутом люди!» Однако, протерев очки, Ирсанов снова принялся искать глазами мальчика уже без всяких мыслей и с одной только целью именно ему вручить свой второй билет. И он увидел его! Мальчик стоял возле дверей с надписью «администратор», впрочем, в компании такой, как он, молодежи. Ирсанов бросился к мальчику.

— Возьмите билет, — сказал он с некоторым придыханием, — просто так, он ваш. — И поймав в свою ладонь хрупкую ладонь мальчика, всунул в нее свой второй билет, а сам быстро пошел в ту сторону, где уже впускали в театр шумных и взволнованных зрителей.

Лидия Ивановна так же разделяла с Ирсановым его мнение о том, что «товарищ Станиславский очень ошибался, считая, что театр начинается с вешалки. Какое заблуждение! Театр начинается с буфета. Ака-

демический театр начинается с буфета сухо-академического. Все прочее — музыка». И поэтому Ирсанов, не минуя вешалки, направился именно в буфет. Ему страшно хотелось сейчас пить. Он встал в очередь единомышленников Лидии Ивановны. Очередь оказалась маленькой и потому неустойчивой. Ирсанов купил два стакана апельсинового сока и бутерброд с икрой.

Он занял свободный столик и залпом выпил свой сок, заев его бутербродом. Но тут он заметил своего мальчика в хвосте очереди. Их глаза встретились, и мальчик улыбнулся Ирсанову. Ирсанов жестом пригласил мальчика за свой столик, намереваясь вновь подойти к буфету и на правах уже стоявшего в очереди купить для него сок и бутерброды, но мальчик, поняв Ирсанова, красноречиво мотнул головой, и это особенно понравилось Ирсанову. Он увидел, как мальчик купил в буфете какую-то конфетку и быстро скрылся в толпе гуляющих по верхнему фойе.

Первым порывом Ирсанова было броситься следом за юношей, но на каком-то последующем витке возникшего в нем чувства он вдруг опомнился: «Что он подумает обо мне?.. Я схожу с ума. В конце концов это даже непристойно». Но тут раздал-

---

ся последний звонок, и с ним Ирсанов вошел в свою ложу...

Их места оказались одно за другим. Мальчик уже сидел в своем кресле. Увидев Ирсанова, он встал со словами:

— Я вам очень признателен. Спасибо. Я так мечтал сюда попасть, на этот вечер хореографии Джорджа Баланчина...

— Сидите, сидите. Не стоит, — ответил ему счастливый Ирсанов и тут только заметил, что их ложа полна американцами, и он вспомнил на минуту оперу в Сан-Франциско. У одной из американок упал на пол колпачок с объектива ее «Кэнона». Ирсанов быстро нагнулся, поднял колпачок и вернул его даме. Они обменялись любезностями по-английски, и внимательному мальчику это очень понравилось в Ирсанове. Ирсанов предложил ему сесть впереди: «Так вам будет лучше видно».

— Нет, нет. Что вы! Спасибо! — с обворожительной улыбкой прошептал юноша. — Мне и так хорошо. Спасибо.

Погас свет. Зал поприветствовал дирижера. Взвился занавес. Спектакль начался...

Первоначально происходящее на сцене танцевальное действие увлекло и даже зах-

---

ватило Ирсанова. Торжественный и нежный Мендельсон на этот раз был услышан Ирсановым совершенно по-особому — в том возвышенном тоне в шкале гармонических созвучий, который слышен отчетливее других и который выражает музыкальную идею композитора. Ирсанов давно отметил для себя в любимой им немецкой симфонической музыке ее необычайную родственность немецкой прозе предшествующего века, и перечитывая не стихи, нет, но прозу Гете, всегда слышал именно Мендельсона, его бессмертную «Фингалову пещеру». Именно Мендельсон научил Ирсанова чувствовать и понимать Вагнера и Малера, впоследствии приведших его к немецкой речи и через нее к постижению мощи немецкой культуры. Но теперь музыка и пластика внушали Ирсанову совсем другие мысли, будили воспоминания далекого прошлого, правда, внезапно ожившего в нем во время его недавней поездки в Америку.

И если благодарный Ирсанову юноша — как позже выяснилось, оказавшийся учащимся последнего класса хореографического училища в городе К... — был сегодня, сейчас, сию минуту на вершине счастья и потому жарко дышал в затылок Ирсанова, то очень многие чувства, переживаемые в

---

эти минуты Юрием Александровичем, не касались балета. Они возникали в его сознании помимо воли, и все наполнялись и наполнялись зрелой силой желания. Кресло в ложе уже показалось Ирсанову тесным и неудобным, он попеременно закладывал ногу за ногу. Он не знал, куда девать руки, поэтому или клал их в карманы пиджака, или складывал на груди, или облокачивался на широкий бархатный барьер ложи... Благодаря присутствию в этом театре, в этой ложе этого мальчика в душе Ирсанова просыпалось и оживало нечто очень давнее, о чем он во все последующие годы своей жизни старался не думать, но не думать об этом было нельзя, особенно сейчас. Поэтому Ирсанов закрыл глаза, всецело отдавшись одной только музыке. И воспоминанию о своем давнем и довольно продолжительном счастье.

В то лето родители Ирсанова купили большую дачу в Озерках. А до того они каждое лето возили Юру к родственникам в Коктебель, который уже порядочно ему надоел за все эти годы. Живопись южных берегов и Черного моря оставляла Ирсанова равнодушным, на целые десятилетия

---

вперед внушила ему отвращение. и по своей воле, Ирсанов на юге никогда больше не бывал. Что-то было в том пейзаже раздражавшее Ирсанова. Он никогда не мог этого объяснить — ни себе, ни другим. И если вспоминал Черное море, то лишь за то, что к своим шестнадцати годам стал отличным пловцом, имел высокий юношеский разряд, готовился в мастера спорта и был в этом качестве объектом зависти своего класса и всей школы, и, разумеется, предметом пристального внимания к себе со стороны переревших девочек. От них он получал устные и письменные предложения дружбы и даже любви, а одна девочка из их класса, довольно милая и неглупая, написав однажды Юре пространную записку с требованием немедленной любви и пригрозив в случае отвержения «броситься в Смоленку рядом с кладбищем», где и назначила юному Ирсанову «последнее свидание», так склонила Ирсанова в тот же вечер к необходимому ей числу затяжных поцелуев на обломках могилы какого-то тайного советника и кавалера всех высших орденов империи. После чего твердо обещала Ирсанову в Смоленку не бросаться «до следующего раза». Но, к изумлению Ирсанова, следующего раза не потребовалось, пото-

---

му что через неделю резвая девушка целовалась все на той же могиле уже с другим юношей из Горного института, о чем сама же чистосердечно сообщила Ирсанову, присовокупив к этому: «Ты, Юрочка, еще дурак». Впрочем, на спортивных и иных достижениях Ирсанова это никак не отразилось, а лишь побудило его на подобные предложения других девиц отвечать вежливым отказом: «Я этими глупостями не занимаюсь».

Приехав в Озерки буквально в первый же день каникул вместе с бабушкой, которая в прямом смысле слова бабушкой Ирсанову не была, но в воспитании Юры, в формировании в нем всех важнейших понятий жизни сыграла значительную роль, Ирсанов очень быстро сдружился с Ильюшей Левиным — соседом по даче, кудрявым и черноглазым мальчиком, который был лишь на год моложе Ирсанова.

Тут надо бы сказать, что Озерки конца 50-х — начала 60-х годов — это совсем не те Озерки, которые мы имеем несчастье видеть в наши дни. Тогда Озерки еще сохраняли прямые признаки старых петербургских дач и потому, несмотря ни на что, были отмечены печатью былого аристократизма, который выражался в образе жиз-

---

ни дачников, в их манере одеваться, держаться, раскланиваться. Вечерами из окон некоторых дач можно было услышать звуки фортепиано, а по утрам к дачным калиткам подходили финские молочницы и предлагали постоянным клиентам дивного вкуса молоко, сметану, творог, крупные куриные яйца или такую же крупную клубнику, янтарный крыжовник, черную смородину, свежие огурцы и стрелчатый зеленый лук прямо со своих огородов в Белоострове или в Териокках. Дачные участки утопали в высоких кустах персидской сирени, и вокруг каждой дачи виднелись большие цветочные клумбы, на которых по весне вырастали яркой желтизны нарциссы, вспыхивали жирные тюльпаны, а ближе к осени эти клумбы озарялись солнечной настурцией и крупными разноцветными георгинами. Повсюду были видны высокие гладиолусы — от безупречно белых до чернеюще-бордовых. А вдоль всех без исключения улиц цвели акации и высились тополя. По маленьким озерцам сновали лодочки и слышался веселый смех купальщиков... А на станции по воскресеньям играл духовой оркестр и все были счастливы — младенцы и подростки, старики и дети, птицы и насекомые. Никогда больше не быть

---

Озеркам такими, никогда.

Однако, возникшая было между мальчиками дружба на самой середине лета вдруг оборвалась: Левины решили поменять дачу и в самых первых числах июля переехали в Комарово. Друзья даже не успели как следует попрощаться. Илья только и успел крикнуть другу, высовываясь из новенькой «Волги»: «Приезжай ко мне, Юра! Я буду очень тебя ждать! Приезжай скорей!»

Под присмотром бабушки летняя свобода Ирсанова не ограничивалась. От него требовалось только одно: встав утром, позавтракать, убрать свою комнату, по возможности придти к обеду, в течение дня все же показываться в доме и возвращаться домой не позднее двенадцати ночи. Если бабушке требовалась помощь по дому или в течение дня надо было сходить в магазин за картошкой «и прочим», это обсуждалось накануне. Во все иные часы дня Юра Ирсанов был совершенно свободен. Но когда на даче появлялись родители и задерживались в Озерках иногда по неделям, жизнь Юра становилась затруднительной в том смысле, что мать и отец, особенно мама, требовали его постоянного присутствия.

---

Юра был их поздним ребенком и, как все поздние дети, был предметом безумного обожания своих родителей, их беспокойства и заботы. Отец требовал от сына постоянного отчета о прочитанных книгах, особенно исторических, а мать терзала подростка иностранными языками и многочасовыми уроками музыки (с этой целью на дачу был перевезен их старый рояль). В такие дни каникулы превращались для Ирсанова в бесконечную тяготу и единственным утешением было бабушкино «потерпи чуток, скоро они уедут снова, потерпи». Однако всякому терпению когда-нибудь приходит конец.

Ирсанов приехал к Илье в Комарово утром и только на один день с тем, чтобы к вечеру успеть на обратную электричку. В любом случае он должен был вернуться в Озерки «не позднее десяти вечера». Но в течение дня мальчишки заигрались — съездили на велосипедах в Зеленогорск по узкой асфальтовой ленте, идущей вдоль побережья Финского залива, угощались там мороженым и лимонадом, играли в каком-то доме отдыха в настольный теннис, обедали в привокзальной закусочной сочными

---

сосисками и вернулись в Комарово совсем по другой, лесной дороге пешком, иногда садясь на велосипеды, в пути болтая обо всем на свете, на ходу подбирая придорожную землянику на маленьких открытых солнцу взгорках и полянках, слушая певчих птиц, иногда перекрывааемых мерным рокотом пролетавших над лесом вертолетов пожарной инспекции... Вернувшись в Комарово, задремали у телевизора, и когда Ирсанов опомнился, ни о какой электричке не могло быть и речи.

Сначала Ирсанов огорчился, но огорчение это очень скоро улетучилось, ибо общеизвестно, что одним из наиболее существенных признаков юности является необходимость кого-нибудь мучить и волновать. «Они же знают, что ты у меня, Юра! Поедешь утром. Какая разница?!» — ободрил Ирсанова веселый Илья. Эти слова друга и в самом деле успокоили Ирсанова и он больше не думал о родителях. «А может, я еще успею? На последнюю?» — сказал он Илье только затем, чтобы что-то сказать, потому что возвращаться в свои Озерки Ирсанову сейчас совсем не хотелось.

Погасший телевизор не только не убавил света в столовой, но сделал ее еще светлей: широкое окно комнаты было распахнуто

---

настежь и потому открывало небесный свод, как бы приподнявшийся на остриях высокоствольных елей, начинавших свой рост на некотором расстоянии от окна. Небо было светлым и беззвездным, и потому стволы деревьев еще не казались черными, а только темными, и листья ближних кустов сирени еще зеленели густым изумрудом, еще вздрагивали в них птичьи тени и редкие их голоса. В дачных окнах вокруг еще не зажигали света, но кое-где лампочки уже вспыхнули на отдельных крылечках, свидетельствуя этим наличие обитателей в разной высоты и окраски дачных домиках и домах. Спать уже совсем расхотелось, да и как можно спать в такую дивную ночь! И мальчики решили поехать на Щучье озеро и выкупаться там в ночной и, должно быть, теплой воде. Ирсанов еще ни разу в жизни не плавал в ночной воде, поэтому предложение Ильи искупаться в лесном озере прямо сейчас, в такую чудесную ночь, он принял сразу и безоговорочно. «А дорога туда совсем как в сказке, Юра! Днем, правда, там есть народ и полно машин. Но зато ночью — прелесть. Я уже купался так два раза. Здорово!».

Побросав свои велосипеды у берега на мелкие черничные кусты, чем вспугнули задремавших уток, мальчишки мигом стянули с себя ковбойки (так в те далекие годы назывались все без исключения мужские рубашки в клетку) и шорты, а Илья сбросил с себя и плавки, чем ввел в некоторое замешательство Ирсанова, сильно возмужавшего в минувшую зиму и теперь относившегося в своему телу настороженно и чутко, ища в книжном шкафу отца объяснения происходящим в нем переменам.

Он был на голову выше Ильи. Его жилистое и вместе мускулистое тело благодаря плаванию и баскетболу, в который он играл всю зиму в спортивной секции их школы, за зиму вытянулось, а плечи, как у всех пловцов, приобрели широкий разворот, в котором отлично читались все мышцы шеи, рук и груди. Все в его облике уже полностью исключало подростковую угловатость, с каждым следующим витком развития становилось гармоничным и отчетливо мужским. Все это вызывало в Илье волнение и в какие-то минуты это волнение Ильи бессознательно передавалось сегодня самому Ирсанову. Несколько раз за этот день Ирсанов ловил на себе взгляд Ильи. Тот вскидывал на Ирсанова свои густые ресницы и

---

чему-то улыбался. И Ирсанов улыбался в ответ Илье, но чувствовал, как при этом загораются его щеки, увлажняются ладони и дыхание становится прерывистым и резким. И это тоже не ускользало от Ильи. Иногда он ловко садился на свой велосипед и, привстав на педалях, устремлялся вперед, а Ирсанов, тоже набирая скорость, догонял Илью и по мере приближения к нему даже подумал: «Хорошо бы, если бы у него не было велосипеда. Тогда я посадил бы его на раму своего и он был бы сейчас совсем рядом». От такой мысли у Ирсанова начала кружиться голова, и он дважды даже терял управление велосипедом и чуть не врезался в какую-то толстую сосну. Илья замечал и это и заливался смехом, и вырывался вперед...

Оглядевшись вокруг, Ирсанов решил последовать примеру Ильи и тоже снял с себя свои новенькие ярко-красные плавки и кинулся в темную ночную воду, с шумом ее рассекая сильными бросками рук. Однако, когда он заметил, что Илья плавает значительно хуже, он счел неуместным продемонстрировать перед ним свое мастерство и стал плавать «как все» — спокойно и тихо...

Вода в озере была теплой, она то темне-

---

ла, то серебрилась, отражая в себе окружающий озеро лес — ближний и дальний, взлетающих над водой уток, огонек дальнего костра на том берегу и узкую ленту дыма над ним. И даже мотив чьей-то песни у костра, и маленькую лодочку, вдруг возникшую на озерной глади с одиноким и сосредоточенным на своем занятии рыболовом, и возникшую в небе одинокую звезду — яркую и покачивающуюся в небесах и в кругах ночной воды...

Первым из воды вышел Илья. Поднявшись на берег, он оглянулся назад и позвал Ирсанова к себе, высоко вскинув руку. Ирсанов видел теперь Илью, что называется, всего-всего, и этот новый взгляд на Илью несколько смутил Ирсанова. Он вдруг вспомнил, что уже видел однажды точно такого же мальчика, точнее, полумальчика-полудевочку с длинными по плечам волосами в одном из залов Русского музея. Тот мраморный мальчик сидел на пеньке, широко расставив ноги, его голова была украшена военным шлемом, и он таинственно улыбался — совсем как Илья сегодня. А потом, уже в Эрмитаже, Ирсанов снова увидел точно такого же мальчика. Он стоял, прислонясь к стволу кем-то спиленного дерева, стройный и нежный. Его куд-

---

рявая головка была убрана забавным колпачком. Мальчик правой рукой как бы поливал себя водой из кувшина, а в его левой руке был маленький колокольчик. Именно вскинутая сейчас вверх рука Ильи произвела в художественном воображении Ирсанова того Торвальдсеновского Ганимеда, который некогда по прихоти Зевса был похищен Орлом и вознесен на Олимп, где Ганимед стал виночерпием. И там, в пышных и холодных Эрмитажных залах, куда этой зимой Ирсанов ходил довольно часто, ему захотелось оказаться Зевсом и похитить этого мраморного мальчика, чтобы слегка прикоснуться к нему своей ладонью...

Однако Ирсанов все не спешил выходить из воды. К тому были у него особые причины. Именно сейчас, именно сейчас собственная нагота вызывала в нем определенное стеснение перед Ильей, который, стоя на берегу, медленно вытирался длинным вафельным полотенцем, попеременно приподнимая то одну, то другую ногу, поворачиваясь то лицом к Ирсанову, то спиной, и теперь Ирсанов все улавливал момент, когда Илья вновь окажется к нему спиной, чтобы ему, Ирсанову, стало ловчее выйти из воды, оставшись незамеченным. И такой

---

момент возник. Ирсанов быстро выскочил на берег и, оказавшись рядом с Ильей, быстрым движением рук схватил свободный конец полотенца и стал скоро вытираться, не заметив, как по мере вытирания их тела сближаются. «Господи, — подумал в эту минуту Ирсанов, — что это со мной?..» Но Илья не дал Ирсанову закончить свое размышление. Он вдруг сильно прижался к другу, и Ирсанов — без малейшего к тому зротического движения — тоже прижался к Илье, свободной от полотенца рукой проводя по влажным локонам Ильи... Он уже не замечал, как полотенце выпало из пальцев и как они — уже прикоснулись к прохладной Ильюшиной коже сначала возле его лопаток, а после сами собой побежали вниз...

От этих движений Ирсанова маленький Илья вдруг весь задрожал и, обхватив его за шею двумя руками, очень сильно к нему прижался — всем своим прохладным телом, вдруг потеплевшим и даже разгорячившимся...

— Поцелуй меня сейчас, пожалуйста... — эти свои слова Илья произнес совсем шепотом.

— Но ты ведь не девочка? — громко сказал Илья, слегка отстраняясь от Ильи. Но руки не слушались Ирсанова и еще крепче

прижимали к себе тело Ильи...

— Поцелуй, поцелуй, — шептал Илья с жаром. Ирсанов поцеловал Илью — легко, чуть касаясь его раскрасневшихся полных губ.

— Не так, — сказал Илья.

— А как? — громко спросил Ирсанов и незаметно для себя приподнял Илью к своему лицу так, что теперь обе крупные ладони Ирсанова упирались в широкие продолговатые ягодицы Ильи, вздрагивающие, то делавшиеся под пальцами Ирсанова округло-крепкими, то чуть слабыми, и вновь крепкими...

— По-настоящему, сильно-сильно, — сказал Илья уже громко и закрыл глаза, губами упираясь в приоткрытый рот друга. Захватив губы Ильи своими, Ирсанов поцеловал Илью долгим поцелуем, чувствуя, как Илья водит кончиком своего языка по его небу.

— Вот-вот, вот так, еще сильнее. Можешь? — быстро сказал Илья, в благодарность целуя Ирсанова в щеки и глаза.

— Могу, — выговорил Ирсанов. Но вместо Илюшиных губ стал целовать его лицо, жадно переходя к шее и плечам Ильи... В этот момент его напрягшееся тело пронзила сладкая, уже знакомая его ночным сно-

---

видениям, боль. Сердце забилося быстро-быстро. В голове что-то словно оборвалось, а ноги, как в воде во время плавания, больно свело. В эту минуту Илья переместил свои легкие руки с шеи Ирсанова за его спину и тесно, теснее чем прежде, прижался к вспыхнувшему Ирсанову.

Наконец сообразив, что с ним случилось, Ирсанов отстранился от Ильи с неожиданными для себя словами: — Прости, Ильюша. Я не хотел... Как ужасно получилось...

Ирсанов бросился вытирать полотенцем живот Ильи, по которому медленно стекала вниз резко пахнувшая молочная жидкость...

— И ничего ужасного, — бодро и громко сказал Илья. — Я сам вытрешь, Юра. — Это совсем даже не ужасно.

— А что же тогда, если не ужасно? — глухо спросил Ирсанов, перестав руками искать свои плавки и, сидя на своей рубашке, уткнул голову в колени.

— Не знаю, — почему-то шепотом произнес Илья, во всю длину растянувшись на разостланном полотенце и положив свою кудрявую голову на обе руки лицом к Ирсанову. — Ляг лучше рядом. Я подвинусь. Ляг. — Развернувшись на одном месте,

приподнявшись на руках, Ирсанов лег рядом с Ильей. — Ну вот видишь, как удобно.

Какое-то время оба мальчика лежали молча — Илья не изменяя своего положения, а Ирсанов лежал сейчас на спине, запрокинув руки за голову и широко открытыми глазами смотрел в начинавшее светлеть ночное небо.

— А правда, Юра, странно, что нет комаров? Комарово, а комаров нет.

— Правда, — тихо сказал Ирсанов. Он мог бы и хотел бы сейчас сказать Илье совсем другие слова, единственные, но он не знал в точности, какие именно, и потому снова замолчал.

— Ты что, спишь, Юра? — тихо спросил Илья, увидев, что Ирсанов закрыл глаза. — Тебе не холодно?

— Нет. Не сплю. Очень тепло. Даже жарко. А что?

— А тебе было приятно, когда...

— Что «когда»? — перебил Ирсанов, и дыхание его снова участилось.

— Когда ты меня целовал? И еще...

— Очень, — ответил Ирсанов, но уже почему-то совсем шепотом.

— А хочешь еще?

— Не знаю.

— А я хочу.

— А можно? — зачем-то спросил Ирсанов.

— Можно, можно, — заволновался Илья и на локтях подтянулся поближе, хотя ближе было уже и нельзя, к губам друга.

— Ладно, — согласился Ирсанов и улыбнулся Илье.

Он целовал теперь своего Илью медленно, иногда прерывая поцелуй своей счастливой улыбкой. Его руки снова прижимали к себе неистового Илью, и снова тело Ильи обжигало пальцы Ирсанова буквально до ногтей. «Какой ты красивый, Юра!» — шептал ему в лицо Илья и слышал в ответ: «Ты тоже красивый. Совсем как девочка». — «Но я ведь мальчик, Юра, я мальчик». — «А тогда почему мы целуемся?»

Они снова замолчали. Снова у Ирсанова закружилась голова. Снова часто застучали виски. Снова напряглось все тело. Снова стало сводить обе ноги.

Горячие губы Ильи теперь уже целовали грудь Ирсанова, весь его живот, в центре которого этой зимой образовалась волосяная дорожка.

— Что ты! Что ты! Это нельзя, — когда быстрые пальцы Ильи и его губы оказались там, где, по мнению Ирсанова, было

«нельзя», он даже приподнялся на локтях.

— Можно. — твердо сказал Илья. — Если тебе приятно, то можно. Тебе приятно?

— Не знаю. Наверное. Да. О-о-о... Илюша, Илюшенька...

Ирсанов глухо застонал. Его руки снова стали искать тело Ильи. Найдя, они сильно сжимали сейчас бедра Ильи, а губы сами потянулись к его губам. — Еще, пожалуйста, — прошептал Ирсанов. — Еще разок.

Был ли Ирсанов сейчас истощен лаской Ильи, он не знал. Он лежал на узкой полоске вафельного полотенца и ни о чем не думал. Скорее всего, он даже задремал. А когда очнулся, широко открыл глаза, увидел, как Илья полулежит рядом и тонкой травинкой водит по его животу.

Ирсанов медленно встал и, не говоря ни слова Илье, а только широко улыбаясь ему, нагнулся к Илье и бережно взял его на руки и понес к воде.

Он бережно опустил Илью в воду и оба они начали тихо плавать, стараясь быть ближе один к другому.

— Ты давно мне нравишься, Илюша. Очень давно.

— И ты мне, еще с Озерков.

— А что же ты молчал тогда? Я бы тебя всегда целовал, сколько тебе захочется.

---

— Да?

— Честное слово.

— Я стеснялся, Юра. Я очень стеснялся...

— А теперь не стесняешься? — лукаво спросил Ирсанов и подплыл к Илье со спины. Выплыв на мелководье, он сильно прижал к себе Илью, всем своим существом чувствуя готовность Ильи продолжить их игры. — Вот видишь, я теперь тоже не стесняюсь. — Сказав это, Ирсанов выпустил Илью из своих объятий, показывая Илье себя без всякого стеснения.

Вытираться полотенцем было уже бессмысленно. Оно лежало на земле все в еловых колючках, которые никак не хотели с него стряхиваться. И тогда мальчики снова легли на полотенце и стали обсыхать.

— А ты когда узнал, что стал уже большим, Юра?

— По-настоящему — сегодня, с тобой.

— Я так и думал, — уверенно сказал Илья.

— Почему? — удивленно спросил Ирсанов.

— Потому что... Потому что я тебя люблю, Юра, — выпалил Илья. — И хочу тебе всегда делать это.

— Что «это»?

— Чтобы тебе было приятно. Всегда-всегда. Только тебе одному.

— А разве есть кто-то другой? — забеспокоился Ирсанов и приподнялся над Ильей. — Разве есть? Скажи. Разве так бывает?

— Не бывает, — уверенно сказал Илья. — И никогда не будет. — С этими словами он прижался губами к губам Ирсанова, но как бы не для поцелуя, а с каким-то иным смыслом, в котором Ирсанов прочел нежность и верность Ильи.

— Это как сон, Илюша, — прошептал Ирсанов, снова откинувшись головой на короткую траву и смотря ввысь. — Один раз не как-то однажды приснилось, что мы с тобой целуемся...

— И мне снилось. Много раз. Снилось, что ты меня ласкаешь, как сегодня, и целуешь, а я тебя тоже целую, всего тебя, понимаешь?

— Понимаю.

— А еще мне снилось, что ты...

— Что я? — с волнением и интересом спросил Ирсанов.

— Ну что ты, Юра... Что ты... Что ты очень хороший.

— Ты тоже хороший, Илюша. Самый хороший. Самый-самый.

Говоря это друг другу, мальчики снова

---

почувствовали острое влечение один к другому. Но Ирсанову теперь хотелось, чтобы Илья без конца на него смотрел и восхищался им, его мужественной силой. И Илье хотелось того же.

Им обоим хотелось сейчас, чтобы эта светлая ночь, в которой они открылись друг другу с неведомой прежде стороны, со стороны своих давних догадок друг о друге, никогда не кончалась. Они не хотели и не могли сейчас даже подумать о том, что жизнь — эта наша всеобщая мачеха — когда-нибудь, а может быть, и очень скоро, разлучит их, и такую ночь им больше никогда уже не пережить, не прочувствовать, не узнать.

— Мы теперь всегда будем вместе, Юра. Да?

— Конечно, Илюша. Конечно.

— Я теперь тебя — такого красивого и доброго — никому не отдам. Никому-никому. Я ведь уже видел, как на тебя девчонки косятся в Озерках. Сегодня в Комарово и там, в Зеленогорске, тоже. И мне было уже тогда больно подумать об этом. Очень больно, Юра.

После этой неожиданного даже для разговорчивого Ильи пространного признания между ними снова возникло молчание,

---

наполнившееся тем невыразимым чувством, которое только в юности посещает нас в первой близости с нашей первой любовью.

— А тебе нравятся другие мальчики? — тихо спросил Ирсанов.

— Сказать по правде, мне нравился один парень в нашем классе. В прошлом году.

— Ты с ним тоже купался ночью? — с укором ревности спросил Ирсанов.

— Что ты! Как-то на физкультуре, в раздевалке, я видел, как он целовался с одной девчонкой. Я его сразу же возненавидел за это. На всю жизнь.

— Но он же не был виноват перед тобой, Илюша.

— Нет, был. Был! Он ведь мне очень нравился и не замечал меня. Я ему все уроки давал списывать. Все контрольные.

— Ну вот, пройдет лето, ты вернешься в школу и вы подружитесь. Он красивый?

— Я теперь так не считаю, во-первых. А во-вторых, он дурак. А в-третьих, в этом году родители переводят меня в английскую школу. Мама там будет преподавать английский и мой 9-й и 10-й будет английский. А потом я поступлю в Герценовский. А ты?

— В университет. Уже на будущий год.

---

Давай вместе, а?

— Там видно будет. Как родители.

Возвращая разговор в прежнее русло, Ирсанов спросил Илью:

— А ты с девочкой целовался когда-нибудь?

— Зачем? А ты?

— Три раза. Она сказала, что иначе утонет в Смоленке — есть такая маленькая речка у нас на Васильевском — очень живописная.

— Ну и пусть бы себе утопилась, — сказал Илья и добавил, — Хотя я бы на ее месте тоже бы утопился, наверное. — И с этими словами прижался к Ирсанову и положил свою голову ему на грудь. Мальчики снова замолчали. Теперь оба они полудремали и каждый из них думал друг о друге благодарно, чисто и высоко.

Ирсанов чувствовал его горячее дыхание, его ровную и нежную кожу, все мышцы его необыкновенного тела, дрожь его спины, бедер и стройных ног... Он чувствовал проворную ладонь Ильи, которой тот водил по груди и животу Ирсанова, осторожно и любовно дотрагиваясь до того места, где был в эту минуту сосредоточен весь юный Ирсанов с энергией силы, мощи и красоты. И за это он был благодарен сей-

час Илье. Он был счастлив сейчас и потому напряженно спокоен — достойно и уже по-мужски. Ибо этот маленький и нежный мальчик с чувственным ртом, с распадающимися по плечам кудрями и пробудил в шестнадцатилетнем подростке Юре Ирсанове — умственно и физически уже вполне взрослом — доселе неведомое ему, Ирсанову, нравственное чувство благодарности за испытанный восторг доверия и взаимопонимания.

Юра Ирсанов не мог и не умел осмыслить происходящее, да и не нуждался в таком осмыслении. Засыпающий на его груди Илья был для него самым близким и родным существом. Глядя его по голове одной рукой, а другой осторожно водя по телу этого мальчика, Ирсанов испытывал сейчас первую в своей начинающейся жизни нежность к другому человеку — хрупкому и беззащитному, взбалмошному и все более и более притягательному и желанному. Он не знал и не мог знать, чем это обернется ему в будущем, чем обозначится в судьбе. И такое неведение тоже было сейчас счастьем Ирсанова, формируя в нем новую волю к жизни.

Когда Илья проснулся, он увидел Ирсанова уже надевшим ковбойку и шорты.

---

Боясь разбудить Илью и не зная, как убить время, Ирсанов, подкачав велосипедные колеса Ильюшиного «Орленка», возился теперь со вторым велосипедом, предусмотрительно взятым у соседей по даче.

— Я заснул, да? — спросил Илья.

— Совсем чуток, — ответил ему Ирсанов. — Одевайся. Нам уже пора. Уже совсем утро.

Кто проводил летнюю ночь у озера и возвращался обратно лесной дорогой, залитой солнечным светом, оглушенной громким пеньем очнувшихся птиц в окружении высоких сосен, тот знает, сколь хорош и неповторим такой путь к дому. Какую-то часть этого пути мальчики прошли пешком, ведя рядом с собой велосипеды.

— Теперь у нас есть тайна, — сказал один из них.

— Да, — согласился другой. И добавил, — Твоя и моя. Наша.

— Да, — сказал Ирсанов. — Только наша. — И ловко вскочив на велосипеды, они быстро, даже слишком быстро помчались по влажному асфальту в сторону еще не проснувшихся дачных домиков и строений.

Когда мальчики вошли в дом, настенные

часы пробили без четверти четыре утра. Родители Ильи это лето проводили в Болгарии, и Илья оставался на попечении своей бабушки. Единственной ее заботой было накормить единственного и любимого внука, все прочее в каникулярной жизни Илюши ее не интересовало. Боясь разбудить бабушку, мальчики тихо прошли на маленькую веранду, где она еще с вечера приготовила для Ирсанова раскладушку. Илья занимал в этой застекленной комнатке довольно большую металлическую кровать с панцирной сеткой и огромной подушкой.

— Ты со мной или на раскладушке? — лукаво поинтересовался он у Ирсанова.

— А бабушка?

— Так она же спит, — продолжал шепотом Илья. — А когда проснется, пойдет на базар. Она сюда никогда не заходит. Считается, что в каникулы я могу спать сколько хочу.

— А родители?

— Так они же в своей Болгарии, я тебе говорил. Вернутся только в конце лета.

— А ты не обидишься, — осторожно спросил Ирсанов, — если я сейчас лягу на раскладушку и чуток посплю. Совсем чуток, а то я что-то...

— Конечно, нет, — спокойно сказал

---

Илья и начал раздеваться, вновь почему-то снимая с себя все-все, даже плавки. Через минуту он был уже в своей постели. Ирсанов тоже быстро разделся, оставшись в своих плавках. Он уже забрался под легкое одеяло, уже готов был сомкнуть веки, но нагота друга и все случившееся с ним на озере снова растревожили Ирсанова, и он нарочно сильно зажмурился, буквально до боли, думая так побыстрее заснуть. Но сон куда-то улетучился, поэтому он шепотом спросил Илью:

— А ты всегда спишь так?

— Как? — довольно громко ответил Илья.

— Голый? — прошептал Ирсанов.

— Всегда. Я закаляюсь. А что? И так ведь удобней спать.

Ирсанов ничего ему не ответил, а лишь последовал примеру Ильи и стянул под одеялом с себя плавки, засунув их под подушку.

— Ладно, все, спим, — проговорил он.

— Спим. Спокойной ночи, Юра. Хотя уже утро, но все равно...

Но заснуть у Ирсанова все никак не получалось. Он думал об Илье: «Какой он хороший, мой Илья. Вот встретить бы такую девочку... Я бы любил ее сильно-сильно.

Жаль все-таки, что Илья — мальчик. Но все равно он очень хороший. И мне с ним так приятно, так приятно...»

— Юра, — тихо позвал Ирсанова Илья, — ты спишь?

— Не сплю. А что?

— А раз не спишь, иди ко мне. Я хочу опять на тебя посмотреть сейчас. Только сними свои плавки, пожалуйста.

— Я уже снял, — ответил Ирсанов. — Иду.

Странное дело, но ему тоже этого очень хотелось сейчас — чтобы Илья снова увидел его, как ночью на озере, и восхищенно прошептал бы: «Какой ты уже большой, Юра!» И прикоснулся бы к нему своей чуткой ладонью. И он, Ирсанов, снова бы испытал «все то же самое». Поэтому он бросился к Илье, как бросаются с обрыва в глубокую воду купальщички, не боясь ни высоты, ни глубины, осуществляя свое падение вдохновенно, естественно и легко.

— Какой ты горячий, Юра, — прошептал Илья. — Ты случайно не простыл?

— Нет-нет. Что ты! Ты ведь тоже горячий, Илюша.

— Я знаю. Но ты все равно горячее, правда?

— Не знаю. Наверное...

---

— А я знаю, — весело шептал Илья, целуя Ирсанова прямо в губы. — Я все теперь знаю, да?

— Да.

— Все-все.

— Да.

— Тебе хорошо сейчас?

— Да. Чудесно, Илюшенька...

— Какой ты милый, Юра! Какой милый!..

— И большой?

— Да, — прошептал Илья. — И красивый. И очень сильный.

— А ты?

— А я еще должен подрасти.

Теперь, полюбняв друг друга, оба мальчика погрузились в глубокий сон. Простыня, которой они пытались накрыться, сбившись, лежала теперь где-то в ногах. Ирсанов лежал на спине, одну руку заложив за голову, а другая его рука как бы поддерживала снизу Илью, лежавшего к Ирсанову лицом, широко раскинувшего ноги, одной из них в полусогнутом положении касаясь Ирсанова. Яркий солнечный луч, внезапно появившись на веранде, освещал сейчас их счастливые лица, превращая Ирсановские

---

вихры в золотистые колючки, а темные кудри Ильи в завитки овечьей шерсти, отливающие сизой чернью. Этот цвет кудрей Ильи делал его тело еще более белым, почти мраморным, с синими прожилками на висках и шее. Одна его рука тоже была занесена за голову и вытянута за ней под тяжестью его головы, а другая спокойно лежала на груди Ирсанова, вполне вписываясь в выступы грудной клетки.

Тело Ирсанова было спокойно. Оно уже успело загореть и резко контрастировало с незагоревшей частью. То, что так привлекало к себе неутомимого Илью и превратило Ирсанова из юноши в мужчину, в любой момент было готово ожить и обрадовать их обоих, но сон молодости оказался более властным над ними, и оба мальчика, иногда улыбаясь в своем сне, не могли знать, как восхищается их наготой в эти часы июльское солнце. А оно обещало жаркий и яркий день, какие бывают только в июле в этих местах, когда все Комарово лениво тянется или в сторону залива, или к озеру, что, конечно, дальше и не всем под силу в такую жару. Но все же!

А между тем, Илья совсем не любил купаться и на залив почти не ходил, да и плавал он, честно говоря, плохо. Щучье озеро

---

он любил за обрамлявшие его лесистые берега, за кувшинки, за криканье уток, за запахи костров, за уходившее за макушки сосен вечернее солнце, за щемящее чувство одиночества, которое он, Илья, испытывал возле безлюдного озера в будние дни и особенно вечера. Обычно он приходил сюда с какой-нибудь книжкой (шел всегда пешком, любя эту лесную дорогу, иногда забредая на комаровское кладбище). Илья чувствовал и понимал стихи, поэтому в его руках вечно были какие-нибудь стихотворные сборники. Он перечитывал понравившиеся ему стихи, примостившись под каким-нибудь деревом. Чаще всего это был Лермонтов — поэт для подростка его возраста довольно трудный. Но Илью влекла музыка слов, поэтому, отправляясь на дачу в этом году, он взял с собой и Лермонтова, и Тютчева, и Фета. Но минувшей зимой Илья открыл для себя сонеты Шекспира и был поражен тем, что эта любовная лирика была посвящена Шекспиром не женщине, как обычно, но мужчине. Уже довольно прилично читая по-английски, Илья добрался до оригиналов Шекспира, по языку довольно трудных и для самих англичан нашей эпохи, и, убедившись в правильности своего открытия, хотел было поделиться с

---

этим с Юрой Ирсановым, еще не зная на-  
верное отношения Ирсанова к Шекспиру  
и волнующей Илью проблеме. Но как это  
сделать?.. Как и чем обратить внимание  
приятеля именно на эту особенность шек-  
спировских стихов?.. Как?

Начавшаяся между мальчиками дружба  
еще в Озерках с самой первой своей мину-  
ты была окрашена для Ильи рано проснув-  
шейся в нем чувственностью. Любое слово  
рослого и спортивного друга, любое его  
движение, каждый поступок, мимолетная  
улыбка, складки его рубашек и брюк, даже  
запах мыла — обыкновенного туалетного  
мыла, исходивший от рук и лица Ирсанова  
— все это неизъяснимо тревожило и вол-  
новало Илью, и в каждом рукопожатии он  
читал для себя нечто очень важное. Тайное  
для Ирсанова и очевидное для самого Ильи.  
Что это? Что это такое? Любовь? Очеви-  
дно, да, потому что даже случайно встреча-  
ясь с Ирсановым глазами, засматриваясь на  
его фигуру, выхватывая зрением нечто для  
себя в ней наиболее значительное и притя-  
гательное (обычно это были ноги Ирсано-  
ва, его узкие бедра и сильная спина плов-  
ца), губы Ильи всякий раз сами собой скла-  
дывались в немое «я люблю тебя». А по ут-  
рам Илья специально убежал на озеро, что-

---

бы там, ища глазами Юру, сесть возле печальной ивы и беспрестанно наблюдать за тем, как Юра входит в воду и выходит из нее; как лежит под солнцем на своем полотном полотенце, в своих красных плавках, и как эти блестящие нейлоновые плавки точно и жадно обнимают его уже почти мужское, но все еще юношеское тело.

Озер было много и никогда нельзя было в точности узнать, на каком из них окажется сегодня, в это утро, или в этот вечер, Юра Ирсанов. В один из таких дней в Озерках они и познакомились. А до того Ирсанов тоже обратил внимание на Илью и, завидя его у ивы, всегда удивлялся тому, что этот красивый мальчик редко купается, еще реже плавает, но всегда почти без плавков и снимает их именно тогда, когда Ирсанов может видеть его всего. «А ведь он уже совсем не маленький ребенок. И волосы у него тоже уже начинают расти. Странный мальчик... Но какой красивый!»

В один из таких дней в Озерках, еще в самом начале их знакомства, Илья случайно увидел, как, выйдя из воды, Ирсанов в кустах переодевался. Он был совсем рядом. Илья все-все видел в Ирсанове, все-все в нем рассмотрел и с тех пор каждую ночь засыпал «с разными мыслями» о приятеле.

И тогда все происходившее с его собственным телом в такие мгновения он, силой своего воображения, переносил на наготу Ирсанова, вполне догадываясь о том, как мог бы сейчас выглядеть Юра. Эти догадки кружили ему голову, вызывали во всем теле сладкую боль, длительное томление и желание прикоснуться к Юре ладонями и губами, тесно прижаться к нему всем своим существом... И тогда, метаясь во сне и наяву в своей разгоряченной постели, Илья начал молиться: «Господи, помоги мне!».

Странно, но его никогда не занимала мысль о противоестественности своей страсти. Девочки Илью совсем не интересовали, хотя и он, года два тому назад, имел беглый опыт рассматривания и ощупывания какой-то особы из их класса, даже из их дома, даже из одного с ним подъезда, на чердаке, куда он завлек эту особу исключительно для одного-единственного поцелуя — неумелого, вялого, бестрепетного, никакого. И тогда юная особа, давно искавшая таких приключений, самостоятельно взяла в свою руку Илью и подвела ее к себе под платье. Не обнаружив там ничего сколько-нибудь стоящего, Илья минут через десять потерял к особе всякий интерес и никогда ни с кем больше не возобновлял подобных

---

исканий, перенеся с тех пор все свое чувственное внимание на себя самого.

Часто просыпаясь по ночам от каких-то толчков и сладкой истомы, он включал свет в своей комнате, подходил к большому зеркалу в шкафу и долго смотрел на себя, принимая разнообразные позы, казавшиеся ему балетными. И всякий раз находил себя «вполне». И это «вполне» вполне его удовлетворяло. И ему было хорошо. Но рядом с Ирсановым Илья вдруг забыл о себе и все время думал о нем. И эти мысли о Юре, оставаясь фантастическими, требовали незамедлительной реализации. Но какой? Какой именно? Илья этого еще не знал. Но вот, стоя однажды под душем и намыливая себя кусочком душистого мыла, он сделал вдруг новое открытие: он вообразил, что это не он сам, а Юра водит вдоль его тела своей рукой... И когда обмылок вдруг выскочил из пальцев Ильи и они, его собственным пальцы, все в мыле, неожиданно задержались на собственных ягодицах, Илья догадался, что было бы ему приятно с Юрой совершить под этим теплым душем в этом их яблоневоm саду.

Это открытие, первоначально окрылив Илью, сделало его дальнейшее повседневное общение с Ирсановым физически для

---

Илья невыносимым. Он все реже стал приходить на озеро, так что однажды даже услышал от Ирсанова: «Что же ты не появляешься, Илюша? Там так хорошо. Позагорали бы вместе, покупались. А?» Но Илья, как правило, ничего ему на это не отвечал: «Пусть сам догадается, если он такой умный. Я ему ничего не скажу». Но Ирсанов догадался об этом — не без помощи Ильи — только там, на Щучьем. И был счастлив! Они оба были счастливы теперь.

Когда друзья проснулись, все те же настенные часы пробили полдень. Ирсанов моментально встал, чем, признаться, огорчил Илью, и быстро оделся, скороговоркой выпалив: «Мне пора, Илюша. Родители в Озерках сойдут с ума», на что услышал от Ильи:

— Уже сошли. — при этом он совсем и не думал вставать и одеваться, а, сладко потягиваясь, продолжал, — ты лучше беги сейчас на почту, она здесь, рядом. И позвони своим. Или даже дай телеграмму.

— О чем телеграмму-то давать, Илья?!

— Ну, что я, например, утонул и что ты меня вытаскиваешь. А? Или лучше так: что ты меня уже вытащил и ждешь, когда я при-

---

ду в сознание, а потому приехать сегодня не сможешь.

— Ты, Илюша, болтун.

— Болтун — находка для шпиона.

— Да у меня и денег-то только на обратную электричку.

— Возьми у моей бабушки.

— А ты что — разве вставать не думаешь?

— Так ведь я еще только прихожу в сознание, Юра.

Ребята дружно рассмеялись. Ирсанову и в самом деле совсем не хотелось сейчас возвращаться в Озерки.

— Ладно, приходи в себя. А я побежал на почту.

Выйдя из веранды и обойдя ее кругом, он зашел в комнату илюшиной бабушки, чтобы попросить у ней денег на телефон. Но бабушки дома не оказалось. Вместо нее на большом круглом столе он увидел под вазой с ромашками записку для внука и десять рублей. Взяв деньги, он вернулся к Илье.

— Бабушки твоей нет дома. Там тебе лежит записка и там же я взял десятку. Сдачу принесу.

— Бери, бери, — томно проговорил снова задремавший Илья, — только сначала поцелуй меня. — Ирсанов поцеловал

Илью в щеку. — Не так. В губы. — Ирсанов поцеловал Илью в губы, но совсем не так, как ожидалось Ильей. Он не стал настаивать, а только сказал: — Раз бабушка оставила деньги, значит она уехала в Ленинград. Здорово, да? Оставайся, Юра. Мы будем весь день во всем доме совсем одни. Разве тебе не хочется остаться, а?

— Хочется. Очень хочется, Илюшенька, — признался Ирсанов. Он уже сидел на краешке кровати Ильи. Он уже обнимал своего Илью, склоняясь над ним и целуя его. Илья тихо вздрагивал при каждом его прикосновении, всем телом тянулся к Ирсанову, запуская свои проворные ладони ему под рубашку и водя ими по спине, от чего Ирсанов тоже вздрагивал и задыхался.

Почта в этот день оказалась почему-то закрытой. В телефонной будке, как назло, не работал автомат. Тогда Ирсанов побежал в сторону станции, где возле овощных, молочных и мясных павильонов, заполненные густо разросшейся белой сиренью, прятались на серой железобетонной стене «гастронома» несколько покрытых ржавчиной телефонов-автоматов.

Позвонив в Озерки, Ирсанов узнал от бабушки Сони, что родители еще вчера срочно уехали по делам в город. «Когда

вернутся — неизвестно. Но ты, Юра, молодец, что позвонил. Я волновалась. А так — отдыхай, голубчик. Да смотри, возвращайся завтра к обеду. Мне без тебя здесь скверно».

Бабушка Соня, или точнее Софья Андреевна Танеева, была дальней родственницей старшего Ирсанова и появилась в их доме только в середине пятидесятых, а до того Юра Ирсанов даже не подозревал о ее существовании на этой земле. В доме о ней никогда не упоминали, во всяком случае при Юре, и когда в один из зимних дней он, вернувшись из школы, увидел в столовой маму за чаем в обществе Софьи Андреевны, он изумился. Во-первых, потому что его мама не выносила женское общество, никогда никаких приятельниц не имела и потому в их доме из женского окружения бывали — очень, впрочем, редко, — или аспирантки отца, или совместно с мужьями жены друзей отца. А во-вторых, маленького Юру поразила внешность гостыи и еще то, что она курила, курила именно в столовой, что в доме Ирсановых было не принято, и мама была к этому совершенно равнодушна и даже не кашляла,

---

как обычно, от табачного дыма.

— Познакомься, Юра. Это бабушка Соня. Она будет жить в твоей комнате, а ты теперь будешь спать в моей. Вымой руки и садись обедать.

Юра подошел к бабушке Соне. Та, резким движением затушив в большой полной окурков пепельнице «Беломор», прижала к себе светлую головку мальчика — Юра был в тот год еще только третьеклассником — и тихо поцеловала его в макушку, проведя по Юриным вихрам с такой нежностью и теплом, что сразу вызвала в нем и симпатию и доверие, поскольку мать Юры была лишена каких-либо сантиментов и он не был приучен к подобным жестам. И еще маленькому Юре понравилось то, что бабушка Соня бегло улыбалась ему, и он улыбнулся ей в ответ.

Не сразу узнал юный Ирсанов, что Софья Андреевна волей горестных обстоятельств своей судьбы в свое время потеряла все права на жилплощадь в Ленинграде, что муж ее, профессор Технологического института, был расстрелян, единственный сын погиб на фронте, а сама Софья Андреевна с тех давних лет до пятьдесят шестого жила где-то на севере под Соликамском в дальней ссылке и вернулась в Ленинград

---

«благодаря Хрущеву».

В бабушке Соне Юру все удивляло. Удивляло его и то, что папа и мама называли ее «мадам», и то, что «мадам» совершенно не умела готовить еду, что она почти ничего не ела, а все время курила, пила очень крепкий чай, беспрестанно читала и все время с кем-нибудь говорила по телефону, резко отказывая просителю в просьбе о встрече и никогда никого не принимая у себя. С мамой «мадам» часто говорила по-французски, а иногда на ее имя приходили красивые открытки из Парижа, и «мадам» отрывала с них марки для Юры, с которых, собственно, и началась филателистическая коллекция Юрия Александровича — предмет его нынешней гордости и никогда не угасающего внимания.

Постепенно — благодаря домработнице Тане — «мадам» научилась готовить пищу. Особенно вкусным у ней получались маленькие сухарики с маслом, блинчики с капустой, щи из крапивы и еще что-то из чего-то — невероятно вкусное, «специально для внука». Юра все время проводил в бывшей своей комнате, где бабушка Соня играла с ним в карты, читала ему, переводя сразу с листа, вслух старые французские

---

сказки и пела под гитару средневековые баллады. И если мама требовала от Юры академических знаний французского, а отец добивался от него оксфордского прозвания в английском, то бабушка Соня ничего от Юры не требовала, ничего не добивалась, никогда ни о чем не спрашивала и всегда рассказывала ему массу интересных историй о жизни прежнего Петербурга и о людях, с которыми ей довелось жить на Северном Урале. И всегда это было захватывающе интересным для Юры. Между мальчиком и «мадам» установились те отношения, которые были больше дружбы и даже больше любви; и когда бабушка Соня на месяц-другой уезжала к кому-то погостить под Москву, Юра бесконечно тосковал, а бабушка каждую неделю присылала Юре длинные письма и он с удовольствием отвечал ей на них.

Это с легкой руки бабушки Сони в их квартире появилась первая в жизни Ирсанова собака — ласковая и умная боксерша Багира, как-то приставшая к Софье Андреевне на Смоленском кладбище, куда бабушка часто ездила ухаживать за чьей-то могилой и куда никогда почему-то не брала Юру. «Твои могилы, дружок, у тебя еще все впереди», — говорила она Юре, но

---

он еще не понимал смысла этих ее слов.

Нелюдимая «мадам» в Озерках очень скоро сдружилась с родителями Ильюши, особенно с его бабушкой, бывшей учительницей русского языка и литературы, Асей Львовной, у них даже оказались, по прежней жизни Софьи Андреевны, общие знакомые среди музыкантов и литераторов Ленинграда и Москвы (Ильюшина бабушка была одной из последних бестужевок, хорошо помнила детей Керенского, с которыми играла в сквере на Загородном, всех без исключения военных называла красноармейцами и всю свою жизнь не переставала ненавидеть большевиков, самостоятельно и только для весьма узкого круга сочиняя о них довольно остроумные анекдоты). У «мадам» с чувством юмора тоже было все «в лучшем виде». Слушая их всегда оживленный разговор за вечерним чаем на веранде, Илья и Юра никак не могли понять, почему их бабушки наливают себе чай только для вида, а сами пьют водку, закусывая ее исключительно вареньем, но делают это в тайне от взрослых членов семьи, совсем не стесняясь своих внуков. Между прочим, Ася Львовна ничем не была похожа на учительницу в строгом смысле этого слова, и Ирсанову это тоже очень в

ней нравилось.

Впервые увидев Илью, заметив, с какой нежностью тот каждодневно смотрит на Юру, как прощается с ним вечерами у ка-литки или уже поджидает его по утрам, чтобы вместе идти на озеро, или тихо сидит на скамейке в саду и наблюдает за тем, как ловко Ирсанов подтягивается на перекладине, как красиво и быстро управляется с гантелями, бабушка Соня как-то заметила внуку: «Он очень красивый и очень странный». «Чем же?», — внезапно вспыхнув, спросил Ирсанов. «Да как тебе сказать, — медленно и в каком-то раздумье отвечала «мадам», обратив внимание на зардевшиеся щеки Юры, — он больше похож на девочку». — «Ничего подобного, — резко ответил Ирсанов. — Просто у него длинные волосы». — «Ну, тебе виднее».

— Ну, и как она тебе? — спросил Ирсанов Илью, когда состоялось первое знакомство между Ильей и «мадам».

— Очень странная старушка, — отвечал Илья.

— Ну и чем же? — дополнительно спросил Ирсанов, и в голосе его Илья услышал некоторую обиду. Но ведь «мадам» Илью совсем не интересовала, поэтому он отвечал Ирсанову «так как есть»:

---

— Очень она тощая. Без конца курит. Водку пьет. Ругается матом...

— ???

— Я слышал, как она однажды, разговаривая с моей бабушкой, держала в руках «Правду» с траурным портретом Ворошилова и сказала по этому поводу: «Еще одна старая блядь загнулась». Разве так можно? Или вот еще был такой случай: разоблачили культ личности Сталина, доклад был по радио длинный. Доклад прочитали, и «мадам» выругалась: «Я охуеваю. Тридцать лет лизали черную жопу лучшего друга пионеров, сладострастно лизали, и только теперь опомнились, подонки».

— Но ведь это правильно, Ильюша!

— Ну, раз тебе это нравится, Юра, то — пожалуйста. Только ведь после этого и моя бабушка стала матюгаться. Моя мама в ужас пришла.

Ирсанов молчал. О Сталине в их семье никогда не говорили — ни плохо, ни хорошо. Он вспомнил, как в школе учителя велели ученикам закрасить чернилами портрет Сталина в «Родной речи». Еще он вспомнил, как в день его смерти, когда все кругом рыдали — и взрослые, и дети — в их семье было оживление: родители выпили шампанское, мама подарила домработ-

нице Тане сто рублей и какое-то свое дорожное платье. А вечером — Ирсанов хорошо это слышал — мама горько плакала в кабинете отца и отец все утешал и утешал маму.

Позвонив в Озерки, Ирсанов успокоился: теперь можно было никуда не спешить. «Илюша наверное еще спит», — подумал Ирсанов. Засунув руки в карманы, он медленно вернулся на дачу. По дороге его нос уловил запах готовящейся в одной из дач пицци. «Наверное жарят картошку с колбасой», — почему-то решил он, скорее всего потому, что больше всего на свете он любил жареную картошку с луком и поджаренную колбасу: «Эх, поесть бы сейчас». И прибавил шагу.

— Ох, как ты долго, Юра! Уже картошка остыла, — на столе в накрытой крышкой кастрюле и в самом деле остывала вареная картошка, а в небольшой эмалированной миске возлежало подобие салата из неумело нарезанных свежих помидоров, огурцов, зеленого лука и крупных кусков копченой рыбы. Салат был посыпан излишне мелко нарезанным вареным яйцом. — Это я все сам сделал. Майонез положишь сам. Вот соль и перец. А пить придется лимонад,

---

потому что я не могу найти чай. Ты не против?

— Все очень здорово, Илья! Спасибо! Есть ужасно хочется.

— Ты уж извини, — виновато признался Илья. — Я тут без тебя уже поел. Пока все это резал, даже живот заболел. А ты, пожалуйста, ешь, не стесняйся. А на обед...

— А на обед, давай, я пожарю картошку. С колбасой, а?

— Ну, опять картошка... Там в холодильнике есть гречневая каша и котлеты. И суп щавелевый. Но если ты не хочешь...

— Очень, очень хочу. Ты увидишь — я жарю картошку даже лучше мамы. Меня бабушка научила.

— «Мадам»?

— Ну да, бабушка Соня — Ирсанов вообще-то не любил, когда кто-нибудь чужой называл Софью Андреевну «мадам». Но ведь Ильюша стал теперь для Ирсанова даже ближе, чем свой, поэтому он, слегка и совсем для Ильи незаметно, поморщился от этого слова в чужих устах и продолжил с жадностью поглощать теплую картошку и чудесный Ильюшин салат. Правда, свой салат рукодельный Илья «чуток» пересолили, что, правда, тут же уравновешивалось уже второй бутылкой клюквенного лимо-

---

нада. Ильюша был счастлив досыта накормить выступавшего теперь уже в трех ипостасях Юру — как гостя, как друга и как любовника. Поэтому Илья снова полез в холодильник и вытащил из него всю оставшуюся копченую треску: «Вот еще. Ешь на здоровье». Впрочем, в гостеприимном доме Левиных всегда и всех кормили обильно и вкусно. Ильюшина бабушка по части еды была большая мастерица. Именно в этом доме Ирсанов впервые познакомился с лакомой еврейской кухней, с ломтиками хрустящей мацы, обретая у Левиных новое понимание людей, повседневного уклада их незаметной жизни, чувствуя многие их тревоги, озабоченности и ожидания. Иногда он слышал, как близкие Илье люди говорят между собой на неведомом ему языке. Ему это было всегда очень интересно, но в присутствии Ирсанова или какого-нибудь другого человека Ильюшины мама, отец и бабушка сразу же переходили на русский. Однажды Ирсанов спросил Илью, еще в Озерках: «Ты понимаешь этот язык?» — «Так, — ответил Илья, — только отдельные слова». — «А почему не учишь?» — «А зачем? Я этот язык ненавижу. Хватит с меня моей жидовской внешности. И вообще, Юра, не хочу я об этом говорить, даже с

---

тобой. Ты все сам должен понимать». Но он еще не мог и не умел сам всё понимать. Однако врожденная деликатность подсказывала ему никогда больше не возвращаться в разговорах с Ильей к этой странной для Ирсанова теме.

Плотный завтрак сразу же вернул ему утраченные за истекшее время силы.

Летний день был в самом разгаре. Солнечные лучи заливали все сущее. Проникали в окна и щели домов, накаляли землю и воздух. Однако с залива тянуло ветерком, он гнал по небу кудрявые кучевые облака, раскачивал стволы редких в этих местах берез, шелест листьев которых образовывал приятный шум, превращая дневную томительную тишину в некое подобие тихой музыки с переливами птичьих голосов и иногда возникавшей человеческой речи. Илья предложил Ирсанову пойти сейчас в лес — просто погулять там, пособирать нарождавшуюся чернику, послушать лесные голоса. Илья любил лес, любил все его запахи и краски и хотел сейчас показать Ирсанову именно свой лес в эти яркие дневные часы. Но Юра был меньшим романтиком. Его физический организм, необходимость энергичных движений, его спортив-

---

ность искали и требовали какого-нибудь конкретного выхода и выражения. Еще вчера, по дороге на эту дачу, он заметил на дачном пространстве, вне всяких заборов и ограждений, врытые в землю столбы с сетками для волейбола, пару свободных и, казалось, ничейных теннисных столов.

— Давай поиграем в теннис? — предложил Ирсанов.

— Да, но у меня нет ни ракеток, ни мячика, ни сетки, — с сожалением сказал Илья. — Но знаешь, — вдруг вспомнил он, — тут недалеко, через железную дорогу, у писателей, есть теннисный стол со всеми делами. Писатели в теннис не играют, все пишут свои нудные книги, да и потом все они такие жирные, старые и противные... Пошли к писателям, там и поиграем. Я туда часто хожу играть. А здесь все ребята какие-то жадные. Я с ними не играю почти никогда. Пошли.

Трудно в точности сказать, что именно руководило сейчас Ильей — желание ли еще больше понравиться другу или какие-то иные причины и соображения, но только Илья, выйдя из-за стола, скрылся в бабушкиной комнате и через некоторое время вышел из нее, одетый в новую белоснежную рубашку с короткими рукавами, в но-

---

вые голубые шорты и ослепительной белизны парусиновые кеды с красными широкими полосками по бокам. Увидев Илью во всех этих обновках, Ирсанов ахнул: «Какой ты Илюша нарядный!» Лицо Ильи сияло радостью: «Эти шорты и кеды мне папа привез из Чехословакии еще весной. Он там был в командировке. Тебе нравятся?». — «Очень».

Предложение Ильи пойти к писателям и поиграть там в теннис, очень понравилось Ирсанову. И хотя его отец тоже писал книги, книги эти были всего лишь учебниками по истории для студентов университета, а это совсем другое дело. Ирсанов еще ни разу в жизни не видел ни одного живого писателя и потому даже не мог себе точно представить, как может и должен выглядеть настоящий живой писатель. Он предполагал, по примеру своего отца, что каждый писатель, вот как Чехов или, вот, как Грибоедов, должен быть непременно в очках. Кстати, сам Юра Ирсанов тоже пользовался очками, но только когда ходил в кино, а так носить очки почему-то стеснялся, от этого он часто щурил глаза, когда всматривался вдаль или пытался получше разглядеть что-нибудь поблизости.

— Я знаю одного писателя, — говорил

---

Илья Ирсанову по дороге в Дом творчества. — Он часто сидит на скамеечке в саду и смотрит на играющих в теннис ребят, и улыбается. У него очень добрые глаза и, знаешь, очень, очень печальные. Может быть, ты сам его сейчас увидишь, этого писателя.

По Комарово мальчики шли, взявшись за руки. Это было красиво, а красота, как известно, притягивает к себе людей, способных ее почувствовать, оценить, принять в свою душу и тем самым как бы приблизиться к ее линиям, изгибам, чертам и краскам. Слушая Илью, Ирсанов мало обращал внимания на проходивших мимо людей — старых и молодых, толстых и тонких, с сумками и рюкзаками, с собаками и собачками на веревочках и цепочках, кативших впереди себя коляски с младенцами или навьюченные тележки. Прохожих в общем было не так уж и много, но многие из них часто останавливали на мальчиках свои пристальные взгляды, часто оборачивались им вслед, иногда им улыбались. Первоначально принимая Илью благодаря его длинным кудрям и маленькому в сравнении с Ирсановым росту за девочку, они — некоторые из них — качали головой, но по мере сближения с

---

идущими юношами, успокаивались, убеждаясь в том, что Илья вовсе не девочка, а мальчик. Конечно, этому хрупкому мальчику еще только предстояло развиваться, но гармония всех его членов уже теперь обещала в Илье мужское совершенство в самом обозримом будущем. На этом фоне Ирсанов уже никак не выглядел подростком. тем более, что его уже свободно пускали на фильмы «до шестнадцати» и потому сам Ирсанов хотел и умел казаться старше своих лет, не соглашаясь с тем очевидным обстоятельством, что любая молодость есть только молодость, которую сама эта молодость силится превратить в самую быстрочитаемую страницу в книге человеческой жизни. Юре Ирсанову ужасно хотелось не казаться, а быть взрослым, и можно с уверенностью сказать, что сегодня, как ни разу еще, ему это вполне удалось. Возможно, поэтому слова Ильи, сказанные ему Ильей на берегу ночного безлюдного озера «Какой ты уже большой, Юра!», Ирсанов понял и в том смысле, что он наконец-то стал взрослым и эту его взрослость заметил и оценил другой мальчик. До близости с Ильей Ирсанову не с кем было сравнить себя в известном отношении. Все ребята в его

---

классе были одинаково рослыми, девочки одинаково крупными и одинаково глупыми. Все они были одинаково безлико одеты, одинаково выражали себя, имели одни и те же представления о себе и других, были одинаково добрыми или злыми, одинаково бездарно учились у одинаковых учителей одинаково думать и говорить. Странно, но честолюбивому Юре Ирсанову, выгодно отличавшемуся от всего класса, было даже как-то неловко хорошо в этом классе и в этой школе учиться. Этим — до некоторой степени — можно было бы объяснить его несомненные успехи в спорте, где каждый гимнаст, пловец и баскетболист берет на себя ответственность за свою индивидуальность. Раздумывая сейчас об этом, Ирсанов искренне радовался тому, что в своей любви к Илье он непохож на других людей, он радовался этому и гордился этим, поэтому все крепче и крепче сжимал в своей руке маленькую ладонь друга.

Возле теннисного стола и в самом деле никого не было. Обитатели писательского Дома творчества были при деле: стихотворцы строчили поэмы, прозаики сочиняли хорошо оплачиваемую прозу, литературо-

---

веды исследовали художественные возможности и просчеты первых двух категорий литераторов. Разомлевший от первой «оттепели» социалистический реализм заново вдохновлял товарищей по цеху сеять разумное, доброе лишь с перерывом на вкусный завтрак, обед и ужин. Из множества распахнутых окон Дома пулеметной очередью щелкали пишущие машинки. Став Государственной, Сталинская премия кружила головы многих сочинителей. В местном аптечном киоске особым спросом среди литераторов в то лето пользовались геморроидальные свечи. Будущее страны и свое собственное представлялось писателям еще более светлым и лучезарным. Каждый из них в меру своего дарования приближал это будущее, злобно завидуя тем баловням судьбы, для которых такое будущее давно уже было несомненным и подлинным настоящим. Именно в ту всем памятную эпоху писатели, написав роман, повесть или даже рассказ, спешили незамедлительно экранизировать свое творение. И если бы Илья Левин и Юра Ирсанов захотели бы слушать, о чем говорят сейчас между собой два мимо них шествующих писателя, мальчики могли бы услышать следующее:

— Нет, вы только подумайте! Эта непреклонная Панова захватила весь «Лефильм»!

— И ведь она беспартийная! Куда смотрит обком?! ЦК, наконец!

— Да, и Кетлинская туда же! И такую дачу, стерва, отгрохала!

— Да, но Вера Казимировна хоть член партии. Бог с ней. Но этот наглец Гранин со своей «Грозой»! Уже два издания, а все мало. Сейчас вот тоже экранизируется...

— Вы совершенно правы. Мне в «Лениздате» уже дважды отказывали в этом году. Включили в план на конец шестьдесят пятого. А в «совписе» из-за какого-то Битова меня отодвинули на будущий год.

— Да этого Битова Панова толкает. Разве вы не знаете? Все знают. Вы не знаете. Повсюду ведь одни интриги. Вера Федоровна большая на счет интриг мастерица. Даже Сталин ее боялся.

— Разве?

— Ей-Богу! Мне даже рассказывали, что однажды на каком-то приеме для лауреатов в Кремле подошел к Пановой помощник Сталина и говорит: «Вера Федоровна, с вами хочет познакомиться сам Иосиф Виссарионович. Так что...» А она этому помощнику и отвечает: «Я — дама. Если Иосиф

---

Виссарионович хочет со мной познакомиться, он легко может найти меня в этом зале».

— И что же?

— И ничего. Сталин, конечно, искать Панову не стал. Но какова!

— Ну, это уже сверх всякой наглости. Да она ведь и мужа своего под пятой держит. Все говорят.

— Его, между прочим, и стоит держать — уж слишком словоблуден. Прямо якобинец какой! А все, знаете ли, от жиру.

— Вы думаете?..

— Конечно! Он всем молодым поэтам по пишущей машинке дарит и деньгами их ссуживает. И еще умудряется зарплату получать в «Голосе Юности».

— Да, но я наверное знаю, что он там бесплатно ведет.

— Экий вы наивный, Сергей Петрович! Да кто щас бесплатно-то ведет? Партия — и та взносы требует. У меня вон за майюнь высчитали гору денег.

— Так вы партию-то покиньте, голубчик, коль вам она в убыток.

— Да как ее покинешь! И вообще печатать перестанут... Да чтой-то вы вздор-то несете, уважаемый! Партия — авангард. Мы без партии — малые дети.

— И то правда: на все воля Господня.

— Вы что, верующий?

— Да что вы, батенька! Христос с вами! Так, к слову пришлось. В апреле вот храм на Сенной взорвали, так я, знаете ли, одобряю, весьма одобряю. Это же опиум для народа!

— А Знаменскую?! Ах, какая церковка была, какая церковка! Я ведь на Восстания всю жизнь живу... Ну да чего уж там говорить-то...

— Да уж, говорить, батенька, не о чем. Но коль скоро мы в космос вырвались и «Поднятую целину» написали, и «Братьев Карамазовых», и атом на службу народу поставили, сделали его, так сказать, мирным, нам и с религией надо кончать.

— Да-да. Решительно и непреклонно. Именно это у нас теперь на повестке дня. И нравственность народную поднимать, знаете ли, надо. Я вот об этом роман теперь пишу, в срочном порядке, уже и заканчиваю. С эпилогом вожусь.

— И у меня, знаете ли, с повестью те же трудности.

— А называется-то как?

— «Заре навстречу». Гоню листаж. Мне «Москвича» достать обещали новенького. Так вот надо бы успеть с повестью-то. Да и кооперативная квартирка двухкомнатная

---

вытанцовывается. И все, как назло, в этом году. Нам ведь с супругой много не надо.

— А повесть-то о чем?

— Да так, знаете ли, о рабочем классе, о молодежи современной, о ветеранах труда, о борьбе за мир.

— И у меня роман о борьбе! Какое совпадение! Только у меня о борьбе с преступностью.

— Роман?

— Естественно. Нам иначе нельзя.

— А данные откуда берете?

— Экий вы любопытный. Откуда надо, оттуда и беру.

— Не извольте беспокоиться. Понимаю, понимаю. Только погода какая-то сегодня странная. Обещали дождик, а его нету. Одни только тучки.

— Небесные странники. Пойдемте-ка лучше выясним, как в ларьке насчет пива. Я, знаете ли, уважаю «Жигулевское». А вы?

— А я — вас, дорогой Степан Петрович.

— Я — Сергей, между прочим.

— Ну так тем более! Вон уж и цистерну везут. Экая жалость, нет бидончика. А то бы...

Минуя этих двух собеседников, Ирсанов

---

спросил у Ильи:

— А эти, как ты думаешь, писатели?

— Ага. Я их уже видел. Они по телевизору выступали. В канун Октября. Они здесь сейчас живут.

— А чего они так странно одеты? На дворе июль, а они в шляпах и габардиновых пальто...

— Так они же писатели, Юра! Им нельзя простужаться.

— Литература остановится, что ли?

— Конечно, — на полном серьезе ответил Илья. Он уважал писателей и литературу.

— Тогда извини. Я об этом как-то не подумал. — сказал Ирсанов и незаметно для Ильи хихикнул: ему ничем не хотелось огорчать Илью.

— Зря ты смеешься, Юра. Великий русский демократ Белинский как раз от чахотки умер. И Чехов, и Некрасов, кажется, и Горький.

— А Горького отравили, между прочим.

— Кто?

— Сталин.

— Ты что-то путаешь, Юра. Горького Берия отравил, — сказав это, Илья в изумлении оглянулся на Ирсанова. Тот буквально задыхался от смеха:

— Ты. Илюша, прелесть... Тогда, значит,

за то, что Сталин... Ох, не могу!!!.. Не успел отравить Горького, его за это... Господи, это же сумасшедший дом!.. Его за это отравил, отравил Берия... Господи, какой кошмар!.. Сплошная клиника!..

— Тогда за что же расстреляли Берию, не понимаю, если он отравил Сталина? Я слышал доклад Хрущева на съезде, по радио передавали выдержки. Сталин ведь главный злодей. Выходит, Берия правильно его отравил. За что же расстреливать Берию? Его наградить надо.

— Ой, не могу, Илюша... Ты — прелесть... Берию расстреляли за то, что он слишком долго медлил с отравлением Сталина... «Наш товарищ Берия вышел из доверия»...

— «А товарищ Маленков надавал ему пинков», — закончил цитату из народной оды Илья. И оба приятеля уже буквально катались по придорожной траве, всхлипывая и восклицая, непрерывно смеясь: «Какой все это ужас!», «Я другой такой страны не знаю!», «И я не знаю. И никогда не узнаю», «И слава Богу!».

Кое-как отдышавшись, мальчики ускорили шаги в сторону калитки, ведущей в писательские пенаты. Через минуту-другую они вошли на территорию Дома творчества и побежали в сторону теннисного стола.

Теннисный стол пустовал. Площадка была посыпана свежим песком, который кто-то заботливо разравнил граблями. На прибитом к углу стола крючке висел большой клеенчатый мешок. В мешке были две маленькие ракетки и несколько целлулоидных мячиков. Мальчики поправили обвисшую сетку и начали свою игру...

Как ни странно, Илья великолепно играл в теннис — легко, ловко и красиво. Это возбуждало в Ирсанове спортивный азарт. Он сбросил на траву ковбойку и теперь, в игровом движении, были отлично видны все мышцы и мускулы его груди, сильных рук, загорелой спины и ног. Илья, словно ночной мотылек, порхал вниз-вверх, ритмично отражая посланные ему Ирсановым мячи, ибо скорость, с какой они стали играть, создавала иллюзию множественности теннисного мяча. Илья восторженно вскрикивал и смеялся. Ирсанов был сосредоточен лишь на подачах и потому довольно быстро утомился: «Отдохнем». «Только чуток», — сказал Илья, уже сделав принадлежащее Ирсанову слово «чуток» своим. В этот момент за спиной Ирсанова раздался спокойный мужской голос:

— Какой у вас счет, молодые люди? Здравствуй, Ильюша! Тебя сегодня не уз-

---

нать — какой ты нарядный.

— Здравствуйте, — отозвались мальчики, а Илья добавил: — здравствуйте, Давид Яковлевич. Только мы играем пока без счета.

— А что так?

— Это тоже писатель, — шепнул на ухо Ирсанову Илья. — Я с ним хорошо знаком уже. Ты не бойся.

— Я и не боюсь. Они что здесь — кусаются?

— Когда как. А этот — хороший.

Впервые и «живьем» увиденный Ирсановым так близко писатель выглядел довольно причудливо. Он сидел на садовой скамейке в тени низких яблонь, заложив ногу за ногу. На нем были серые аккуратно отутюженные брюки и — в такую жару! — коричневая вязаная кофта, поверх которой сиял белый воротничок рубашки. Большое лицо писателя обрамляли всклокоченные и разбитые легким ветерком черно-серые волосы — длинные и, судя по всему, очень жесткие. Его маленькие аккуратные руки были скрещены на груди. А самым замечательным, интригующе интересным, возбуждающим любопытство было в облике писателя то, что во рту он держал маленькую пузатую трубку с мелкой цепоч-

---

кой. Горящая трубка распространяла табачный аромат, обволакивая писательское лицо сизыми колечками медленного дыма. Трубка, всклокоченные волосы, беспрестанная улыбка и маленькие аккуратные руки этого забавного человечка заставляли предположить, что на садовой скамейке, в окружении яблоневых веток и высоких сосен, перед мальчиками сидел сказочный лесной гном. Стоит гному заговорить — и он поведует нам какую-нибудь лесную историю, тем более что услышать эту историю уже приготовились две бабочки-капустницы, а одна из них — наверное, самая любопытная — даже села на маленькое плечо гнома, уже сложила свои крылышки и поводит сейчас усами: «Мы вас слушаем, дорогой гном. Начинайте». Но вместо гнома раздался голос Ильи:

— Это мой друг. У него первый разряд по плаванию. Он ко мне приехал из Озерков.

— Очень рад, — сказал гном-писатель. — Очень рад. И как вас величают? — Ирсанов представился. — Какая у вас, молодой человек, литературная фамилия! И сколько вам лет?

— Скоро будет семнадцать.

— Замечательно! И вы, я смотрю, впол-

---

не профессионально играете. Вы. Наверно, учитесь в спортивной школе? У вас великолепные данные.

— Да нет, в обыкновенной. А в теннис меня папа научил. Но играю я плохо. Вот Илья играет очень хорошо.

— Да, да, я знаю. Мы с Ильей давние приятели. А в Озерках вы что — в спортивном лагере?

— Нет, — ответил вместо Ирсанова Илья. — Юра там живет на даче. Мы ведь тоже раньше жили в Озерках, а когда Белка и Стрелка полетели в космос и папа получил за них премию, мы купили дачу здесь, в Комарово.

Продолжая держать в руках свои ракетки, мальчики стояли сейчас перед писателем, опершись на ствол старой сосны. Свободной от ракетки рукой Ирсанов обнимал прислонившегося к нему Илью. Лицо Ильи озарялось счастливой улыбкой.

— Ну что ж, молодые люди, не стану вам мешать. Играйте. А я тут посижу, посмотрю. Я когда-то тоже играл в теннис, где-то в вашем возрасте. Меня, помнится, выгнали из школы, как раз перед экзаменами. И я целыми днями играл у нас во дворе в футбол и в теннис с такими же, как я, двоечниками и второгодниками. Школу я ненави-

---

дел. Потом, правда, поступил в полиграфический техникум и долго работал в газете. А потом началась война и я ушел на фронт.

— И дошли до Берлина? — поинтересовался Ирсанов.

— Нет, до Берлина дошли другие. А я оказался в госпитале, на Урале в Перми, а после войны некоторое время еще жил на Урале и был там корреспондентом «Ленинградской правды».

— А книги вы пишете про войну? — спросил Ирсанов.

— Нет. Про войну тоже пишут другие. У меня про войну не получается. Война — это смерть. А я люблю жизнь. О ней и пишу.

— А можно почитать какую-нибудь вашу книжку? — робко спросил Ирсанов.

— Наверно, можно, — неуверенно ответил писатель. — Я вам в следующий раз как-нибудь подарю свою книжечку. Те, что были здесь, я уже раздал. Но я специально съезжу за экземпляром для вас, Юра, в город на следующей неделе. Тогда и приходите. Я буду очень рад еще раз вас увидеть вместе с Ильюшей. Я живу на первом этаже, в комнате номер одиннадцать. Заходите. Попьем чайку, поболтаем. Договорились?

— Да, спасибо, — ответил Ирсанов. —

---

мы непременно придем. Я теперь буду часто приезжать к Илье. Здесь замечательно, а в Озерках ужасная скука.

— Разве? — поинтересовался писатель, вытащив из кармана брюк большой кожаный кисет и приготавливаясь заново набить свою трубку. — В Озерках довольно красиво, их любил Блок и написал там много прекрасных стихов, именно в Озерках.

— Не знаю, — вяло отвечал Ирсанов. — Раньше, когда Ильюша жил в Озерках на даче, было весело. Мы ходили на озера. А теперь...

— И давно вы дружите? Что-то мне Илья о вас никогда раньше не говорил, — писатель посмотрел на Илью, и тот почему-то весь покраснел. — Впрочем, здесь, на Щучьем великолепно, не правда ли?

— О да! — воскликнул Илья и покраснел еще сильнее. — Мы как раз сегодня ночью там купались. И еще пойдём. Да, Юра? — При этих словах Ильи Ирсанов тоже слегка покраснел и, ничего не ответив, отстранясь от Ильи, быстро вернулся к теннисному столу и жестом пригласил Илью продолжить их игру.

Играя теперь почему-то с меньшим энтузиазмом, Ирсанов все время чувствовал на себе пристальный взгляд писателя. Он

испытывал сейчас смешанные чувства, и эти чувства возбуждали в нем одновременно легкую обиду на Илью за то, что он, Илья, «проболтался про Щучье», хотя ничего особенного Илья писателю и не сказал, и неловкость от пристального взгляда на себя этого незнакомого, то есть еще очень мало знакомого человека, хотя и очень хорошего и доброго. Ирсанову казалось, что взгляд чужого ему человека как бы раздевает Ирсанова догола, касается каждого участка его тела точно так же, как это делал Илья. «Но Илюше можно, ему все можно. А больше никому нельзя», — думал про себя Ирсанов. Видения прошедшей ночи вселили в Ирсанова чувственное беспокойство. Его шорты вдруг стали ему непомерно узки и неудобны, это затрудняло движения, возникало желание побыстрее закончить игру, отойти куда-нибудь, где никого нет, и поправить рукой то, что мешает двигаться, дышать, говорить и думать. В эту минуту Ирсанов услышал за своей спиной голос писателя:

— У вас необыкновенно сильные ноги, юноша. Вы могли бы танцевать в балете.

Ирсанов невольно прекратил играть и обернулся на голос писателя. Теперь он стоял перед ним, широко расставив свои и в

---

самом деле мускулистые ноги, грудь его вздымалась от частого дыхания, мышцы живота, словно волны, как бы набегали одна на другую и всё остальное тоже было очень сильно напряжено под плотной материей парусиновых шортов. Ирсанов, видя, как писатель на него смотрит, как лукаво улыбается все понимающей улыбкой, покраснел сильнее прежнего, не находя никаких слов для объяснений, которых, впрочем, от него никто не требовал и не ждал.

— Да, у вас очень красивые ноги, — повторил писатель.

— Он и сам весь красивый, — громко вставил Илья.

— Я догадываюсь, — тихо сказал писатель и частыми шагами поспешил в глубину сада, на ходу добавив, обращаясь к Илье: — Тебе очень повезло, Илья. И вам, Юра, я думаю, тоже. Всего доброго. Заходите. Жду.

Тем давним летом родители Юры Ирсанов все реже и реже появлялись на даче. Отца «запрягли» в университетскую приемную комиссию председателем, мамина аспирантка нуждалась в помощи перед за-

щитой диссертации, и мама, воспользовавшись этим обстоятельством, затеяла в их городской квартире «легкий ремонт». Бабушка Соня перевезла в Озерки свой выдавший виды «Ундервуд» и с утра до ночи перепечатывала толстую рукопись новой папиной книги, посвященной Периклу. Рассматривая иконографию этой будущей книги, Ирсанов живо заинтересовался античным миром, а потому вечерами часто просиживал за многочисленными художественными альбомами, приехавшими на дачу из города вместе с «Ундервудом».

— Что тебя там сильно заинтересовало?  
— однажды спросила бабушка.

— Фидий. Какая красота! Они все здесь как живые! А ведь это всего лишь камень. Но знаешь, все равно Илья лучше всех этих мальчиков, — совершенно искренне признался бабушке Ирсанов. — А еще здесь есть совсем такие как я, правда?

Оторвавшись от «Ундервуда», бабушка Соня закурила «беломорину» и, смотря на внука, подумала о чем-то своем, давнем, без всяких слов. И было не очень понятно, кому и чему она незаметно улыбается — то ли своим воспоминаниям о чем-то, то ли этому горячо любимому ею подростку, который в одних плавках полулежал сей-

---

час на покрытой старым ковром тахте и перелистывал большие художественные альбомы отца, с особым вниманием рассматривая «Великое наследство античной Эллады». Чуткая ко всем движениям другой души, Софья Андреевна уже довольно давно обратила внимание на происходящие с мальчиком перемены. Он стал более улыбчивым, более одухотворенным и более ровным в словах и поступках. Было в теперешнем поведении Ирсанова, в его возмужавшем облике, в манере держаться и говорить что-то такое, что доказывало бабушке Соне одну простую и понятную в подростке вещь — что их Юра уже живет физической близостью с другим человеком. Но с кем? Он часто уезжает к Илье в Комарово, проводит там дни и ночи. Но к Илье ли? Правда, в его возрасте еще рановато обзаводиться подругой, но нынешняя молодежь такая шустрая. Впрочем, молодежь во все времена довольно шустрая, и мы с возрастом не хотим и не можем согласиться с этим, ища таким образом какое-нибудь оправдание собственной не во всем реализовавшейся юности, промелькнувшей как дым и туман. Молодость Софьи Андреевны мало чем отличалась от другой какой-нибудь

---

молодости, но в ее молодость вторглось зло, определившее последующее одиночество и горечь прожитых в неволе лет. Поэтому бабушка Соня., видя счастье Юры, была его счастьем рада и не слишком задумывалась об истинных причинах этого счастья, хотя и чувствовала — женщины с умом и сердцем обладают таким даром — что-то в отношении Ильи к Юре, что понуждало ее смотреть на Илью совершенно в определенном свете. «Впрочем, — раздумывала Софья Андреевна, — это ведь вполне нормально, чтобы подростковый гомозертизм проявлял себя в нашем случае. Да и с теорией Платона это никак не расходится, но дополнительно свидетельствует в ее пользу. Да и красиво это, в конце концов».

А однажды бабушка Соня застала Юру, в то лето почти и не читавшего — когда?! — за чтением маленькой книжечки, на обложке которой стояло имя автора — Д. Дар, а называлась книжка «Баллада о человеке и его крыльях».

— Такая погода чудесная, а ты читаешь, Юра, — укоризненно заметила бабушка Соня. — Пошел бы хоть под деревья, в сад, все бы на солнышке.

— Подожди, — сказал Ирсанов. — Я должен сегодня дочитать до конца. — Ему и в

---

самом деле совсем не хотелось сейчас отрываться от чтения. Книжка была не только захватывающе интересной, но — и это было очень важным для мальчика — ему, Юре, хотелось поскорее ее прочитать, чтобы завтра, в Комарово, высказать автору, согласно договоренности между ними, «свои соображения».

За обедом Юра протянул бабушке прочитанную книгу, раскрыв ее на том месте, где мелкими, отдельно друг от друга выписанными буквами было написано: «Милому Юре Ирсанову — по-моему, отличному теннисисту и прекрасному юноше — с признью, Автор».

— Это мне в Комарово вчера сам писатель подарил

— Давид Яковлевич?

— Ты его знаешь, баб?

— А то! — весело ответила Софья Андреевна и добавила, — Господи, как летит время! Я знала Давида еще до войны, до страшного тридцать восьмого, когда во всю началось. Он чудом уцелел! Господи! Когда Дар узнал, что мой Вадик погиб на фронте, он прислал мне удивительное письмо на Урал. А когда Панова получила очередную Сталинскую, еще при жизни тирана, Давид Яковлевич прислал мне денег и посылку

---

с теплыми вещами и колбасой. Он уже и не помнит об этом.

— А Панова — это та, которая «Сережу» написала?

— Да, Юрик, та самая. А Давида Яковлевича увидишь, пожалуйста, кланяйся. Я его с прошлой зимы не видела, а звонить, как-то, знаешь, все неловко. Они на Марсовом поле живут. Я ведь в том доме тоже когда-то жила, только окнами на Мойку. Они там после войны обустроились, а я ведь до войны жила. Ах, что ж я заболталась с тобой! Мне надо работу доканчивать. А ты сегодня опять в Комарово? — Ирсанов молча махнул головой, дожевывая кусок жареной говядины. — Ты там не мешаешь, а?

— Кому?

— Да бабушке Ильюшиной? Вас ведь двоих поить-кормить надо. Ладно, Бог с вами. Поедешь, во-первых, денег возьми, а, во-вторых, купи еще по дороге на станции у нас для Аси Львовны клубники и цветов. Клубника-то в Комарове продается?

— Да, на базаре. Есть там, недалеко от станции, по дороге к Щучьему, деревянные навесы. Это у них рынком называется. Там и картошка есть, и лук, и зелень всякая, и клубника тоже бывает, но быстро расхватывают.

---

— Тогда вот тебе еще десятка. Больше дать сейчас не могу, до приезда родителей. Деньги — как вода — все куда-то улечучиваются.

— Послушай, баб, а ты пенсию теперь получаешь? — Ирсанов слышал недавно в электричке разговор двух стариков о новом пенсионном законе, поэтому решил спросить Софью Андреевну о пенсии. Он знал, что его отец с прошлого года начал хлопоты о пенсии для Софьи Андреевны.

— Для этого, Юра, на реабилитацию подавать надо. А для меня это сильно унижительно. Спасибо твоим отцу-матери. Как-нибудь проживем на профессорскую-то зарплату. Я ведь и печатные заказы имею. На «Беломор» хватает, а так мне ничего не нужно.

А осенью Юре Ирсанову исполнилось семнадцать лет. Часы родители купили ему еще в прошлом году. В этом году он заканчивал одиннадцатый класс и уже с осени стал готовиться в университет, а по сему, забросив спорт, все свое внимание сосредоточил на учебниках, усиленно занимался с отцом и бабушкой Соней языками.

Кое-кто из ребят его класса считал, что коль скоро Юра Ирсанов — сын университетского профессора и вообще из семьи научных работников, в университет он поступит беспрепятственно. Но ни сам Ирсанов, ни тем более его родители так не считали, а отец и вообще не был бы против, если бы сын послужил в армии и сделал бы карьеру военного переводчика, для чего Ирсанов-старший снесся — с кем бы выдумали? С мужем Лидии Ивановны — своим самым первым аспирантом, вернувшимся из Лондона на короткое время по делам в Москву и побывавшего в Ленинграде в гостях у Ирсановых. В общем, сам Юра ничего не имел против того, чтобы сделать такую карьеру. Он сам и все в доме считали, что военная форма ему очень к лицу, и в этом отношении восстановилась бы прерванная на дедушке Юры военная традиция, поскольку дед его был старым адмиралом русского флота, а настоящая его бабушка, мать отца, происходила из знаменитой семьи адмирала Лазарева. Отец же Ирсанова, в свое время мечтавший служить во флоте, не сгодился в армию по причине близорукости. Ирсанову близорукость отца передалась, но была слабо выражена. Еще молодой тогда, но уже блестя-

---

щий дипломат, муж Лидии Ивановны, все же посоветовал Юре поступать в университет. «Сейчас министром маршал Жуков. Хрущев его, конечно, сместит, заменит Малиновским, но муштра и твердость уставов еще долго будут определять лицо нашей армии. Пусть остается на гражданке. И Лидочка так считает. Я с ней по телефону советовался», — сказал дипломат и добавил:

— Что же до дипломатической карьеры для Юры с его способностью к языкам, с его данными и развитием, то поживем — увидим. В ИМО я ему всегда перевестись помогу. Попрошу Добрынина помочь.

Все это было сказано в отсутствие молодого Ирсанова, еще не успевшего узнать, что в мире взрослых и влиятельных людей «все так делается — и женится, и рождается, множится и укрепляется». Однако муж Лидии Ивановны был человеком особенным. Он сам пробился без всяких связей, любил и уважал профессора Ирсанова, они с Лидией Ивановной были бездетны, племянниц и племянников не имели и от души были рады оказаться «весьма полезными» своим друзьями. Облагодетельствованных ими, обласканных уже и в ту пору было немало. Они были, очень состоятельными

людьми: содержали роскошную квартиру в Москве и здесь, на Петроградской, под Москвой имели большую дачу, собирали живопись, антиквариат, старинные книги и иконы. Как только встали на ноги, начали тихо, без всяких слов, тайно от многих, помогать деньгами детскому дому на Красной улице. Мать Лидии Ивановны, консерваторская пианистка, всю войну и блокаду прожила в Ленинграде, работая на радио, и смогла «кое-что» сохранить. Сама Лидия Ивановна побывала на фронте, поездила по стране и Восточной Европе санитаркой в поезде. Душа и совесть у них обоих была чиста. Все понимая, они любили свое Отечество и, бывая за границами, тосковали по России, по ее столицам, красоте и русскому убожеству. Ирсанов любил и уважал этих близких друзей их дома. Решено было ему поступать в университет.

Друзья виделись теперь крайне редко, хотя и жили друг от друга не слишком далеко. Илья жил на Садовой, точнее на углу Садовой и Большой Подьяческой, поэтому, когда мальчики встречались, они по воскресеньям обязательно заходили в Никольский собор, гуляли вдоль Фонтанки до Ка-

---

линкиного моста, а оттуда по проспекту Гааза, доходили до Нарвских ворот. Туда же, к Нарвским, мальчики ездили по воскресеньям и в субботние вечера на какой-то заводской стадион, где сиял и гремел большой каток. Иногда они ходили на каток и в Юсуповский сад, но там, в Юсуповском, было слишком многолюдно от катающихся дошкольников и ребят младших классов, да и фонариков разноцветных не было, и под радиолу не играла музыка — не пели «Ландыши» или «Качает, качает, качает задира-ветер фонари над головой», или, бывало, «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново», или даже «Не кочегары мы, не плотники...» А там, у Нарвских, все это было. Но было и еще что-то такое, что доставляло любящему сердцу Ильи смятение и боль, — были разноцветно одетые девушки в вязаных шапочках-«менингитках», в коротких юбочках, и все они, так казалось Илье, все время смотрели на Юру, заигрывали и заговаривали с ним, и — о Боже! — он часто, даже слишком часто, отвечал всем им улыбкой, иногда помогал зашнуровать ботинки, шутил. Илья молча все это сносил, а Юра, заметив огорчение друга, все его переживания, все в нем понимал, но в силу своей открытости и приветливости

---

не мог вести себя иначе. Иногда это даже злило Илью, он насупливал свои черные брови, но быстро приходил в себя и молча сносил переживаемые муки. Чувственность Ирсанова с приходом холодов и морозов сжалась в некий комочек, почти ничем себя не выдавала и благодаря чтению переходила в иное качество. Этому плавному переходу эротических видений в необходимое интеллектуальное размышление до некоторой степени способствовала, как ни странно, Софья Андреевна, направляя в культурное русло определенные интересы внука. Делала она это очень искусно, подводя Ирсанова к тем книжным полкам и стеллажам, на которых покоились сочинения античных авторов. Этой умной и широко образованной женщине, все в Ирсанове чувствовавшей и предполагавшей еще с прошлого лета, было важно помочь юноше оформить все его переживания, придать им эстетический оттенок не только сильно действующими на юношу изобразительными средствами, но и собственно словом, коль скоро Ирсанов собирался поступать на филологический. И с этой, на наш взгляд, довольно мудрой позиции Софья Андреевна взяла на себя трудную и ответственную роль направлять душу и со-

---

знание молодого человека, которому еще только предстояло выйти на широкую магистраль жизни и человеческих отношений со всеми их неожиданностями, открытиями, разочарованиями и даже трагедиями. Она хорошо понимала, что эротические ориентиры подростка еще будут естественно смещаться в сторону общепринятой нормы, но было важно и необходимо помочь юноше обрести жесткие и верные представления о морали человеческих отношений в их интимном смысле и значении, поэтому она, чередуя чтение Ирсанова русской классики с художественными достижениями античного мира, не видела принципиальной разницы между ценностями, исповедуемыми Гоголем и Толстым, Овидием и Платоном, ибо каждый из них утверждал доброе через отвержение дурного, а что хорошо и что дурно — пусть «милый юноша» разбирается в этом самостоятельно.

Уже целый год Юра Ирсанов жил в собственной комнате, то есть в той комнате, в которой прежде жила бабушка Соня. Теперь она переместилась на половину матери, где обе женщины занимались каждая

своим делом. Отец безвылазно находился в своем кабинете. Формально не оставляя кафедры, он редко бывал в университете, и хотя прежде ходил туда пешком по набережной всегда охотно, с этой осени ему все чаще стали отказывать ноги, и часто заседания кафедры проходили у него на квартире. Неутомимая Софья Андреевна принимала в них самое деятельное участие, стенографируя, записывая, ведя журналы и дневники. Она была одного с профессором Ирсановым года рождения, но физическая работа, уральский климат и живой ум и характер Софьи Андреевны, ее постоянная подвижность до смертного часа оставляли ее прямой, еще моложавой и, несмотря на низкий голос, круглосуточное курение и «употребление водочки», аристократически женственной. Она была всегда аккуратно причесана, от нее всегда пахло «Красной Москвой», она подкрашивала свои тонкие губы и все еще предпочитала носить «лодочки» на довольно высоких каблуках. Эта ее жизненная сила внушала больному старику Ирсанову некоторый оптимизм на свой счет, но начавшаяся болезнь ног с годами превращалась в тяжелый недуг. Бабушка Соня была при нем неотлучно, а мама Юры почти все свои дни проводила у

---

себя в институте и возвращалась домой поздно и почти без сил. Она уже не требовала от сына упражнений за фортепьяно, да и сам Ирсанов давно оставил эти занятия. Их старый рояль, однажды увезенный в Озерки, так там и оставался. Под руководством Софьи Андреевны жизнь младшего Ирсанова так же, впрочем, как и старшего, была теперь книжной, и эта книжная жизнь — страница за страницей — постепенно объяснила Ирсанову природу их с Ильей дружбы-любви.

Возникшая между юношами в Комарово близость сама собой прервалась городской жизнью. Наличие отдельной комнаты не спасало друзей, хотя в иные часы их взаимная нежность искала и находила способы проявить себя, не давая одному из мальчиков действительного удовлетворения, делая другого еще более любимым, желанным, но, кажется, для Ильи уже не единственным. Правда, Ирсанов гнал от себя подобные подозрения; оставаясь наедине со своими мыслями об Илье, питая ими свою душу, он самостоятельно ничем не тревожил Илью — сам ему никогда не звонил и к нему никогда не приходил. Оба с нетерпением ждали зимних каникул, когда можно было на целых полторы недели,

---

уехать в Озерки или в Комарово, и там, дни проводя на лыжне, дивясь перламутровому льду на заливе или на Щучьем, обходя ближний и дальний лес по неглубокому, присыпанному еловыми иголками снегу, вдыхать полной грудью чистейший зимний воздух, а к вечеру, растопив печку березовыми дровами, напиться вкусного чая с мясными консервами и пряниками, и забраться на всю долгую ночь под тяжелое ватное одеяло, и согреть друг друга, нашептывая при этом один другому какие-нибудь прекрасные слова, и быть счастливыми. В такие часы и дни Ирсанов снова верил в верность Ильи и находил этому несомненные подтверждения, хотя однажды даже спросил Илью:

— Когда мы долго не видимся, Илюша, ко мне приходят всякие мысли и я начинаю думать, что у тебя еще кто-то есть — это когда ты все время на кого-нибудь косишься на катке и на улице оборачиваешься. Так ли это?

Илья покраснел до ушей, вспыхнул, высоко вскинул свои пушистые ресницы и сразу же ответил другу:

— Мне многие нравятся, Юра, и я с этим ничего не могу поделать. В нашей школе есть один парень из десятого... Ах нет, из

---

одиннадцатого класса... Очень сильный, его у нас все боятся. Учится так себе — родителей все время в школу вызывают. Девки наши от него без ума. Ну так вот, однажды после физкультуры, когда все уже оделись и ушли, а я остался в раздевалке один, все никак не мог развязать узел на тапках, смотрю, он вошел в раздевалку — у них там секция должна была начинаться после нашего урока. Ну, вошел и вошел. Стал переодеваться. Я с узлом вожусь, иначе тапок не снять — они мне и так малы, да еще носки шерстяные...

— Ну, вошел, стал раздеваться...

— Не перебивай, Юра. Я ведь тебе все и так расскажу, но по порядку. Вижу, он все с себя снял, остался только в коротенькой майке. Я — честное слово! — даже отвернулся, хотя он очень красивый мальчик. А он спрашивает: «Что ты — с узлом возишься? Давай помогу». И представляешь, подходит ко мне без трусов и улыбается так, знаешь ли, приветливо. И сам садится на стул — совсем голый. И говорит: «Давай ногу». Я встал перед ним, вытянул ногу. А он про узел забыл, меня к себе притянул и посадил на колени — я в трусиках и в майке — и говорит: «Ты, Левин, хорошенький, лучше наших девочек», Я все понял и хотел

---

встать, а он меня обнял, стал целовать и просить: «Поцелуй меня», а сам мою руку взял и стал... Короче, положил мою ладонь к себе и крепко прижал. Я вырвался и к дверям. А он и дверь-то успел закрыть — повернул ключ, но ключ оставил в дверях. Я нервничаю, с ключом вожусь, а он прижал меня к себе сзади, и говорит: «Не спеши, Левин. Куда спешить? Я вижу, тебе и самому это нравится, я давно за тобой заметил. Я никому не скажу. Давай...» Но тут я дверь все же открыл, точнее, не дверь, а замок. Он успокоился, быстро надел трусы.

— А ты?

— Я схватил свой тренировочный костюм, форму, сапоги в охапку и переоделся уже в коридоре. Тапок стащил с трудом, на пятке даже ссадина была.

— А что этот парень потом? Хочешь, я с ним поговорю? Я с ним так поговорю, Илюша, что... Это когда было?

— Еще в октябре. Не понимаю, зачем его, дурака, в английской школе держат. Правда, у него родители... Отец — секретарь райкома партии, вот и держат. И он еще спортивную честь школы...

— Он к тебе еще пристаёт?

— Нет. Только ухмыляется. Я его не боюсь. Что он мне сделает? Но знаешь, Юра,

---

я, когда он был в одной майке и возбужден, хотя он и симпатичный парень, понял, что я ни с кем никогда не буду... Ну, ни с кем, кроме тебя, у меня этого не будет. Ты, пожалуйста, успокойся, Юра. Я клянусь тебе — не будет. Ты лучше всех и дороже всех мне, вот. — Говоря это, Илья очень сильно разволновался, и теперь уже тоже сильно растревоженный Ирсанов, как мог и умел, успокаивал Илью. А на утро они вернулись в город и с того последнего каникулярного дня, давно уже не виделись, а только разговаривали по телефону.

До этого откровенного признания Ильи Ирсанову казалось, что их отношения с Ильей единственны и не имеют аналогов ни в современности, ни в истории человечества. Но очень скоро, читая книги по истории Эллады, Ирсанов сделал для себя много открытий. Он поспешил поделиться ими с Ильей. Можно сказать, что это была первая публичная лекция Юрия Александровича, прочитанная им в семнадцать лет своему шестнадцатилетнему другу. Это было в воскресенье, мальчики только что вышли из Эрмитажа и теперь гуляли по аллеям прозрачного Летнего сада. Илья услы-

---

шал от Ирсанова много для себя нового, потому что, когда Юра закончил, Илья признался ему:

— Знаешь, я и не догадывался, что об этом есть книги. У нас дома тоже ведь полно книг, но об этом — ни одной. Надо ж! Оказывается, не мы первые, Юра!

— И вот еще что, Илюша, — продолжил Ирсанов. — В античной Греции, на Крите и Коринфе в седьмом веке до нашей эры существовал обычай похищения мальчиков взрослыми мужчинами. Похитители вводили подростка в свой мужской союз; их физическая близость сочеталась с воинским обучением, после чего мальчик, снабженный оружием, возвращался домой. В Греции эта связь не только не скрывалась, но считалась почетной. А в Спарте каждый мальчик между двенадцать и шестнадцатью годами должен был иметь такого покровителя, воинская слава которого распространялась и на мальчика. Если юноша проявлял трусость на поле боя, за это наказывали его любовника. В Фивах был особый «священный отряд», составленный из любовников и считавшийся непобедимым, ибо как писал Ксенофонт...

— Ксенофонт — это кто?

— Древнегреческий историк. И что са-

---

мое замечательное, почти все его сочинения дошли до нашего времени. Основное его сочинение — «Греческая история», написанное в седьмом веке. Советские ученые мужи считают Ксенофонта антидемократическим писателем и философом.

— Почему?

— Какой ты смешной, Илья! Ксенофонт ведь не был членом КПСС и даже не предполагал, что никакой демократии, кроме как социалистической, на свете нет и быть не может.

— Ладно, шут с ней — с социалистической демократией. Продолжай, пожалуйста. Что там писал твой Ксенофонт?

— Он писал: «Нет сильнее фаланги, чем та, которая состоит из любящих друг друга воинов».

— Вот видишь, — вставил Илья. — А я, дурак, в армию идти не хочу. Пошли вместе! Мы ведь с тобой будем тогда самыми лучшими, самыми доблестными воинами Советского Союза. А?

— Скажешь тоже, — рассмеялся Ирсанов. — Я тебя, Илюша, в армии никак не представляю, да и себя, признаться тоже.

— А что так? — серьезно спросил Илья.  
— Кругом империалисты. Это ведь угроза

---

социалистическому лагерю? Угроза.

— Ладно. Слушай дальше.

В течение этого вечера, когда мальчики, обогнув сияющее огнями здание Цирка, вышли к Фонтанному дому и уже подходили к Аничковому мосту, Ирсанов, как умел, пересказывал Илье основные сочинения Платона — все его беседы с Сократом, делая акцент на интересующая Ирсанова тему. Благодаря этим книгам Ирсанов давно усвоил самое важное в идеале эллинской дружбы-любви, где так называемый «педагогический эрос» определял нравственный смысл мужских союзов, делая их высоким образцом для подражания в позднейшие эпохи, особенно в эпоху Возрождения; он уже прочитал к тому времени книги Роллана о Микельанджело. Но дня через два после прочитанной Илье «лекции» Ирсанов дал Илье прочитать «Сатирикон» Петрония и вообще всю имевшуюся у него античную прозу. И стихи, конечно. Возвращая Ирсанову книги, составившие отныне его личную библиотеку, Илья всякий раз просил новую, а о прочитанной они говорили между собой буквально часами. Казалось бы, излишняя сосредоточенность подростков на интересующей их литературе должна бы дополнительно распалить их эротизм, но

---

странно — оба мальчика стали сдержаннее в проявлениях своих чувств, а сами чувства стали более одухотворенными тем стремительным потоком мыслей, которые только в юности могут быть свежими, открытыми, но обремененными пресловутым жизненным опытом, с возрастом превращающих большинство людей в чванливые особи обоего пола, поучающие нас жизни, ими уже прожитой и потому бесполезной и не интересной.

В подобных разговорах, иногда даже в спорах, иногда жарких, потому что интеллектуальный и чувственный темперамент каждого из подростков был чрезвычайно индивидуальным, кое-как завершилась последняя для Ирсанова школьная зима. Наступившая весна заставила Ирсанова, успешно сдав школьные экзамены, приступить к подготовке в университет. Состояние здоровья старого Ирсанова заметно ухудшилось и в самом начале лета он был перевезен в Озерки, а вслед за отцом туда же последовал сын с кипой книг и тетрадей.

Отец Ильи получил срочное назначение в какую-то закрытую подмосковную зону, куда взял с собой жену и сына. Отъезд Левиных — для Ильи внезапный и горестный — всего лишь на полгода затянулся на не-

---

сколько лет. Первоначально друзья переписывались, но вскоре их переписка заглохла то ли сама собой, то ли из-за сугубой засекреченности профессора Левина. Поступив в университет, уже закончив первый курс, Ирсанов узнал от каких-то общих знакомых о том, что Илья последовал его примеру и тоже поступил на филфак Московского университета, на английское отделение. Студенческая жизнь каждого из них оказалась разной, но по-своему бурной и исключительной. На втором курсе Ирсанов внезапно женился на девушке из параллельной группы и, не закончив курса, стал отцом двух симпатичных девчушек — Маши и Даши.

Избранницей Ирсанова оказалась глубокая, но практичная провинциалка, что было бы не таким уж и страшным для родителей Юрия Александровича. Их огорчил этот, по их мнению, слишком ранний и преждевременный брак. Отец и мать Ирсанова буквально с порога невзлюбили невестку, хотя бабушка Софья Андреевна, к тому времени уже начинавшая сдавать, делала все от нее зависящее, чтобы молодая жена Юрочки чувствовала себя в их доме

---

более уютно. Решением отца и матери Ирсанову был выдан толстый конверт с деньгами и предложено «незамедлительно нанять себе любую квартиру». Молодые съехали в какую-то «хрущобу» возле Парка Победы и прожили там много лет, пока наконец, уже став кандидатом наук, Юрий Александрович — при материальной поддержке Лидии Ивановны и ее мужа — не купил своему семейству довольно большую трехкомнатную кооперативную квартиру в высоком тринадцатизэтажном доме в том же Московском районе. Денег от родителей он принципиально не принял, а с тех пор, как его мать овдовела, он не забывал поддерживать ее материально, хотя профессорской пенсии ей с собакой вполне бы хватало на жизнь и пропитание. Что же до бабушки Сони, то она всего лишь на полгода пережила отца Юрия Александровича. По весне, как и он, тихо скончалась «от тоски», пожелав быть похороненной на старом Охтинском кладбище — возле матери, отца, двух братьев и старшей сестры, которых она пережила на целых полвека своей трудной, но чистой и необыкновенной жизни. Похороны бабушки Сони Юрий Александрович пережил с неизъяснимой болью. Большой фотографический портрет

---

Софьи Андреевны и теперь висит в кабинете старого Ирсанова, ныне ставшем кабинетом Юрия Александровича. В год своего сорокапятилетия Ирсанов отметил последний день рождения матери — ей исполнилось восемьдесят лет, и умерла она как раз на раннюю в том году Пасху. Жоли, к тому времени почти переставшая выходить на улицу, совершенно оглохнув и ослепнув, последовала примеру своей хозяйки буквально через неделю. Громадная квартира в старинном доме у Румянцевского сада некоторое время пугала Ирсанова своей нежилой пустотой, а на даче в Озерках завелись мыши. Однако «Два балета Джорджа Баланчина» — еще при живой старушке-матери и полуживой Жоли — круто прервали желанное одиночество Юрия Александровича. Но прежде надо бы сказать о двух — с перерывом в несколько лет — встречах Ирсанова и Ильи.

Их первая встреча, как это ни удивительно, произошла в середине памятных тогдашним «отъезжантам» семидесятых, в казенном доме на Желябова, где до недавнего времени располагался ленинградский ОБИР — там много было званых, да мало

---

избранных и одним росчерком пера там кроили, уродовали, ломали, калечили, доводя тысячи ни в чем не повинных людей до полного отчаяния, неприкосновенную жизнь «отдельно взятого гражданина» этой великой и своим величием унижающей любого человека страны.

Ирсанов появился в ОБИРе, чтобы получить здесь окончательный отказ в выездной визе во Францию, куда он был приглашен одним из университетов Сорбонны на месяц для чтения там лекций.

Левин, оббивавший пороги и паркетные овировский кабинетов уже второй год, должен был в этот день наконец-то получить разрешение для эмиграции в Израиль.

Оба они, слышав друг о друге в ученых кругах (Левин стал кандидатом наук и преподавал в Герценовском институте, из которого его, впрочем, года два как выгнали), не виделись уже довольно порядочно, живя каждый своей жизнью.

Выйдя из ОБИРа, — один с категорическим отказом в поездке во Францию, другой — будущим израильским подданным, уже утратившим советское гражданство, — бывшие друзья минувшей юности решили заглянуть в безлюдный в дневные часы «Кавказский» и выпить там за встречу

«чего-нибудь».

— Ты это серьезно, Илья?

— Что — серьезно? Израиль, что ли? Да в гробу я видел этот Израиль! Голда реет буревестник — это не для меня. Да и слишком большое скопление евреев на слишком малом отрезке земли — это, знаешь ли, нечто. Первоначально лечу в Вену. Оттуда надеюсь попасть в Штаты. У меня уже есть приглашение в Бэркли.

— А что — здесь?

— Здесь? А ты вокруг оглянись, Юра. Протри глазенки. Касательно меня вот что: работы нет, денег нет, друзей нет, а есть один «пятый пункт». Мне уже тридцать.

— А твои как?

— Что — как? Отец у меня секретноноситель. Отец и мама остаются ждать «светлого будущего». Через пять лет, если Бог даст, я их вытащу. Раньше не получается. Ты моих навещай, а?

— Когда ты летишь, Илья? Я приеду в аэропорт. Можно? Тебя кто-нибудь будет провожать? Я не родителей имею в виду.

— Он живет в Калифорнии. Он для меня — все. Я тебе напишу. Будь здоров, Юра, и постарайся сохранить себя в этом аду. У тебя должно получиться. Я чувствую, мы еще увидимся. Эта система рухнет еще при

---

нас живых, должна рухнуть. Прощай.

Илья неожиданно для Ирсанова встал и направился к выходу. Их вторая встреча состоялась — прогноз Левина подтвердился — в Сан-Франциско уже в наши дни.

Во всю свою жизнь Юрий Александрович Ирсанов менее всего предполагал оказаться в Соединенных Штатах — хотя бы потому, что его ученые интересы никак или почти никак не соотносились с этой страной. Оказавшись в тот год в Париже, прочитав там несколько лекций, он совсем неожиданно для себя получил приглашение прилететь первоначально в Нью-Йорк, а после того еще и в Калифорнию. Он этим приглашением воспользовался и на День Благодарения очутился в Америке. Американские впечатления Юрия Александровича оказались разнообразными, противоречивыми, во многом не совпадающими с теми впечатлениями, которые усиленно навязывают советскому обывателю уже в наши дни многочисленные счастливцы. Мы не станем касаться этих впечатлений Ирсанова не только за недостатком места и времени, а скорее потому, что в этом нет никакого смысла. Скажем только, что, уз-

---

навши из престижной «Нью-Йорк ревью оф букс» и американских академических кругов о посещении Штатов доктором Ирсановым, калифорнийский профессор И. Левин тут же позвонил Ирсанову в гостиничный номер — что, надо сказать, Юрия Александровича не слишком изумило — и буквально настоял на том, чтобы тот «немедленно закруглялся» и «как можно скорее» вылетал в Калифорнию.

— Билет на самолет до Фриско ты получишь у портье уже сегодня. Мы с Джейком — это мой студент — тебя встретим, нет проблем. Как тебе Нью-Йорк?

— По-моему, ужасно, — медленно отвечал Ирсанов, вслушиваясь в сильно изменившийся голос Ильи, говорившего по-русски, как показалось Ирсанову, с некоторым напряжением.

— Да, ты, пожалуй, прав. Но Нью-Йорк — это, слава Богу, еще не вся Америка. Тебе надо увидеть Бостон, Чикаго, американскую глубинку, Колорадо. Ты здесь еще сколько будешь — почти три месяца? Я что-нибудь придумаю, возьму короткий отпуск и все тебе покажу. Но сначала сюда, в Калифорнию! Сан-Франциско — это сказка. Все сам увидишь. Жду.

Через неделю с небольшим друзья отме-

---

чали встречу в причудливом испанском ресторанчике в самом центре Сан-Франциско, где все, несмотря на конец ноября, было залито солнцем, подчинялось его яркому теплу, которое высвечивало в людях всех возрастов их чувственную привлекательность, их нарядность, их желание и умение нравиться себе и другим.

Ирсанов нашел Илью мало со дня его отъезда изменившимся. Те же черные кудри, те же живые и совсем даже не печальные глаза, та же легкость и тонкость фигуры, облаченной сейчас в светло-голубые джинсы, в ярко-красную рубашку с зеленым крокодильчиком на груди, а ноги — по-прежнему чудесно-стройные — были обуты в ослепительно-белые кеды. Кожа лица и рук Ильи была смуглой от калифорнийского солнца и океанских волн. По всему было видно, что американская жизнь Левина вполне состоялась и была украшена тем дополнительным благополучием и материальным достатком, которые никак не уродуют жизнь глупца, а жизнь человека умного и одаренного делают более комфортной и потому более полезной.

Профессор И. Левин и его молодой друг Джейк Доусон занимали вполне просторную квартиру в небольшом четырех-

---

хэтажном доме в зеленом квартале города, состоявшую из двух спален и большой светлой студии, стены которой были уставлены книжными полками белого дерева. Во всех комнатах было много разнообразных цветов. Мебель была простой, изящной и функциональной. В свободных пространствах стен висели большие картины современных американских художников. В этом авангардном, с точки зрения Ирсанова, интерьере в качестве дополнительных украшений было много расставленной по полкам и столикам тяжелой бронзы из антикварных лавок, которых, как позже узнал Ирсанов, в больших и маленьких городах Америки великое множество. Все в этой квартире говорило о беспрекословном художественном вкусе хозяев, о полном совпадении их взглядов на жизнь и искусство, о человеческом согласии между ними.

Джейк оказался открытым и приветливым двадцатилетним молодым человеком, изучающим в Беркли русский «серебряный век». Он уже довольно хорошо говорил по-русски и беспрестанно расспрашивал Ирсанова о современном Петербурге, куда собирался приехать на стажировку предстоящей зимой. Врожденная деликат-

---

ность юноши, сопряженная с уважительной любовью к своему учителю и другу, подсказала ему такую линию поведения по отношению к Ирсанову, которая позволяла старым друзьям помногу часов быть вместе, употребляя эти часы на бесконечные разговоры, вести которые в любых условиях российские интеллигенты умеют и любят, полагая себя в этом самыми счастливыми на свете людьми. Ирсанову в этой квартире была отведена кабинет-спальня Джейка, который переместился в студию на громадный диван желтой кожи.

— Я договорился в университете, что твои лекции начнутся через неделю. А мы завтра махнем в Сан-Диего — это на границе с Мексикой. Ты увидишь всю Калифорнию с Севера на Юг. В Сан-Диего живут мои родители, там им удобней, есть что-то вроде русской колонии. Отец все еще плохо говорит по-английски, а мама так и не может научиться, да и не хочет, наверное. Я им звонил, они страшно рады твоему приезду. Вы ведь не виделись с моего отъезда лет десять?

Американские дороги, о которых Ирсанов был много наслышан, поразили его во всех отношениях. Илья вел машину — старомодный, вытянутый, словно сигара, шо-

---

коладный «Крейслер» — легко, и это тоже очень понравилось Ирсанову.

— У Джейка своя машина. Да-да, вот та красная, что ты видел во дворе. А я люблю эту, в ней как в танке — безопасно и удобно. У тебя в Союзе есть машина? Какая?

— Да «Жигуленок».

— Что это?

— Советский вариант «Фиата». Дерьмо, конечно, но меня устраивает.

— Что жена, детки?

— Я развелся в прошлом году. Живу у матери.

— Ах, да, ты мне писал. Извини, я что-то забывать стал. Извини, Юра. Я читаю все ваши газеты, «толстые журналы», представление имею. По-моему, у вас сейчас стало интересно жить. Здесь все очарованы Горби, он и в самом деле оживил страну.

— А ты, Илья, приехал бы как-нибудь. Сейчас в Союзе много американцев. Часто бывают бывшие. Приезжай по частному, я вышлю приглашение. Живи у нас, наши гостиницы для иностранцев слишком дороги. Съездим в Комарово...

— Нет, Юра, в Россию я никогда не приеду. Приезжать в свою страну, которая тебя отвергла, в качестве интуриста — для

---

меня в этом есть что-то унижительное. Не обижайся. А ты, пока лавочку не прикрыли, приезжай-ка лучше почаще сюда, я все оплачу.

— Спасибо, Илья. Но...

— Что «но»?! Вам ведь меняют лишь двести долларов. Не говори глупости, — продолжал с жаром Илья, хотя Ирсанов не сказал еще ничего особенного. — Прилетай сюда, когда хочешь. Мы с Джейком будем только рады тебе. Кстати, как он тебе?

— Очень милый мальчик.

— О, да! Джейк — прелесть.

— А что Ричард, о котором ты мне — помнишь? — тогда говорил?

— Там все оказалось сложнее, чем я думал. Знаешь, американцы здесь, у себя дома, и в России — далеко не одно и то же. Дик с первого дня моего приезда сюда стал считать меня своей собственностью, я во всем от него зависел. А мне хотелось всего добиться самому. Короче, через год мы расстались. Первые года три мне было трудно, были проблемы. Я даже зарабатывал тем, что на кампусе в университете, пока учился в аспирантуре с грошовой стипендией, стриг траву, а зимой мыл посуду и с одним парнем ходил красить дома — здесь любая работа в почете, на это

никто не обращает внимания. Защитил диссертацию. Вот уже пять лет профессорствую, написал две книги, печатаю статьи, но больше всего люблю здешних студентов — схватывают все буквально налету, учатся как дьяволы. Уже выпустил трех аспирантов. В прошлом году защитил вторую докторскую — по истории русского средневековья. Там, знаешь ли, много любопытного было. Да, Юра, все твои книги здесь есть в библиотеках — библиотеки здесь превосходные.

— А Публичку на Фонтанке помнишь? Она, правда, уже пятый год на ремонте. Но как там, Господи, хорошо было, Илья, как хорошо!

— А помнишь, как мы там вместе украли «Иосифа» — два толстенных тома?

— «Иосифа и его братьев»? Ну, конечно, помню! Ты меня потом целую вечность зудил и стыдил. Конечно, помню! Я, Юра, все помню, все-все, до мелочей, по часам и минутам, всю мою тамошнюю жизнь и всю нашу с тобой дружбу, и наше комаровское лето...

— Мы ведь даже еще и не познакомились, — обратился мальчик к Ирсанову в

---

антракте. — Меня зовут Анджей. Анджей Кротовский. А вас как зовут?

— Ирсанов, Юрий Александрович, — представился мальчику Ирсанов. Он хотел и страшился протянуть Анджею свою руку для обыкновенного традиционного приветствия. Его смущала полная открытость юноши, его физическая к нему близость, его широко улыбающееся лицо и яркость электрического света в фойе и на лестничных переходах, множество людей, как показалось Ирсанову, устремивших свои взгляды — любопытствующие, догадывающиеся, даже, может быть, осуждающие, но в любом случае укоризненные — именно на него, Ирсанова, разговаривающего теперь с этим подростком и желающего пожать или просто заключить в свою его хрупкую ладонь.

Состоявшееся рукопожатие оказалось беглым, внешне вполне приличным, в чем Ирсанов убедился, слегка вокруг озираясь, но внутренне что-то в нем изменившимся, заставившим отказаться от нахлынувших в темноте зрительного зала воспоминаний и начать совсем по-другому себя чувствовать и по-другому думать о самом себе, о своем прошедшем и об этом мальчике тоже. Этим другим был сейчас сам

---

Ирсанов, но если бы его попросили объяснить происходящее с ним сейчас, он не смог бы этого объяснить, ибо способность к пониманию заменилась в нем в эту минуту готовностью чувствовать и ощущать — ощущать тепло другой руки, ее кожу, ее мышцы и косточки, ее легкое дрожание и, конечно же, волнение. Но отчего?

Войдя в ложу при последнем звонке, Ирсанов предложил Анджею сесть на его место с тем, чтобы тому было лучше видна вся сцена.

— Что вы! — полусшепотом воскликнул Анджей. — Спасибо. Мне и здесь видно хорошо.

Однако Ирсанов мягко настоял на своем. Теперь они сидели в ложе один за другим, и кресло Ирсанова стояло сейчас в полуобороте от кресла Анджея и на таком расстоянии, что их ноги слегка касались одна другую, и на каждое такое касание мальчик отзывался крутым поворотом своей аккуратно причесанной головки и вспыхивал улыбкой, в которой Ирсанов читал все, что сам придумал для себя в эти часы.

«Господи, как он красив! — думал сейчас Ирсанов. — Как он дерзко и беспощадно красив! Какие гениальные линии составляют рисунок его облика! За что, господи, ты

---

даруешь мне его внимание и за что искушаешь меня?!» Ирсанов нашел своей рукой ладонь Анджея... первоначально он лишь прикоснулся к ней, и мальчик, решив, что это прикосновение случайно, не обратил на Ирсанова никакого внимания, но когда пальцы Юрия Александровича настойчиво сжали ладонь юноши, он моментально отвел свои широко раскрытые глаза от происходящего на сцене и посмотрел, как показалось Ирсанову, в его сторону с легкой осуждающей нежностью. И тогда Ирсанов отнял свою руку от этой теплой ладони и все второе отделение, более не касаясь мальчика, все смотрел и смотрел на него, а тот, иногда оборачиваясь к Ирсанову, отвечал ему беглой улыбкой...

Оба балета были одноактными и закончились довольно быстро. В самом начале десятого часа Ирсанов и Анджей уже вышли из театра и, делясь впечатлениями от спектакля, уже порядочно прошли по тихим в этой части города улицам, вышли на канал и приблизились к Казанскому собору.

— А вы сами тоже приезжий или здесь живете? — поинтересовался Анджей. — Я здесь уже третий раз, в Ленинграде. А вы?

— Живу здесь всю жизнь.

— Какой вы счастливый! — искренне воскликнул мальчик. — Вы можете сколько угодно ходить в Кировский, а я... Вы где-нибудь в этом районе живете. Да?

— Нет, на Васильевском. А что?

— А, знаю, знаю, это где Академия художеств, я там был уже. Жаль, в Эрмитаж я на этот раз не успеваю.

— А что так?

— Завтра уезжаю домой, в свой К... Уже надо на занятия.

— Когда снова думаете приехать сюда?

— Весной, после выпускных экзаменов. Хочу найти здесь работу. Постараюсь распределиться в Ленинград. Это ужасно трудно, но я надеюсь. В этот раз я приезжал показываться. Меня обещали взять в театр хореографических миниатюр. Это было бы здорово, да?

— Да, конечно, — подтвердил Ирсанов, думая совсем о другом. Он уже начал думать о скором расставании с Анджеем, и ожидание такой минуты тревожило его, причиняя буквально физическое страдание. Ирсанов предложил Анджею зайти куда-нибудь перекусить.

— Но у меня только два рубля с собой, так что...

— О чем вы говорите, Анджей! Как вам не стыдно! Оставьте свои два рубля себе на мороженое.

— Как на мороженое! Я должен буду заплатить рубль в поезде за постель, а на второй что-нибудь купить, бутерброд какой-нибудь.

— Но как можно оставаться в чужом городе без денег?! Я могу дать вам сколько надо. Потом пришлете в конверте. А?

— Нет, что вы! Деньги мне не нужны. Мне хватит тех, что есть. Я остановился у родственников, недалеко от вокзала, тут совсем уже близко. Раз — и я уже дома. Так что...

— Но может быть, все же поужинаем вместе? — повторил Ирсанов свое предложение.

— Но теперь все так дорого. Я даже не знаю, что вам сказать.

— Но есть-то вам хочется? Мне — очень хочется.

— Ну, раз вам хочется кушать, тогда пойдем. Где здесь столовая? Я не знаю.

— Столовые уже закрыты, Анджей, — сказал Ирсанов и звонко рассмеялся. — Вот здесь ресторанчик какой-то. Видите — «Чайка».

— Я, признаться, еще ни разу не был в

ресторане. Там красиво, как вы думаете?

— Думаю, что там можно хорошо поесть. Когда-то — когда я был еще студентом университета — здесь была хорошая кухня и довольно дешевая.

— Но тогда все было дешевое. Да? Мне папа говорил. А теперь я даже не знаю...

— Об этом, Анджей, пожалуйста не переживайте. У меня есть деньги, нам хватит поесть, еще и останется.

— А вы часто ужинаете в ресторанах? Вы кто? Вы много получаете?

Эти вопросы тоже позабавили Юрия Александровича хотя бы потому, что с такой бесподобной непосредственностью ему их никто никогда не задавал. Теперь он задумался, как ему на них ответить так, чтобы сказанное прозвучало для Анджея естественным. И он ответил как есть:

— Я профессор университета. Получаю достаточно. В рестораны хожу редко и только с друзьями. В основном ем дома. Вы удовлетворены? — Все это Ирсанов, разумеется, сказал иронически, но милый Анджей понял Ирсанова так как услышал, то есть очень буквально и в свою очередь сказал:

— Мой дедушка тоже был профессором Львовского университета, а до Львова он

---

жил в Варшаве и там тоже был профессор, профессор-полонист. Он умер в прошлом году, во Львове. Может, вы его знаете? Не знаете? Обидно. А папа мой — он поляк, а мама украинка — обыкновенный инженер.

Этот разговор между Ирсановым и Анджеем, начавшись при подходе к «Чайке», был живо продолжен ими уже за столиком ресторана. В полупустом зале наших героев сразу же взял под свое покровительство немолодой официант. Понимающе (так во всяком случае показалось Юрию Александровичу и он от этого понимающего на себя взгляда постороннего человека сильно смутился) улыбаясь и надеясь получить приличные чаевые, официант довольно скоро обслужил их. На стол явилось шампанское, красная икра и что-то невероятно горячее, чему Ирсанов не стал искать названия в меню.

— Я не пью, — тихо, но твердо сказал Анджей, когда официант, откупорив бутылку, стал разливать вино по бокалам. — Никогда не пью, ничего. Вот разве что «пепси-колу».

— Но вам ведь уже, — наверное, есть семнадцать лет? Впрочем, Анджей, я не настаиваю. Воля ваша. А я выпью. Я иногда люблю шампанское. Но пью, знаете ли,

очень редко, с друзьями только. И поскольку я не выношу никакие тосты, я выпью за ваш скорый приезд в Ленинград и за нашу следующую встречу, если не возражаете. И пусть вам в вашей карьере, Анджей, всегда сопутствует успех.

— Спасибо, — благодарно произнес Анджей. Я вам очень благодарен. Мне просто повезло, что у вас оказался лишний билет. Так бы я в театр не попал.

Изголодавшийся за день мальчик молниеносно съел икру и жаркое, с удовольствием запив их двумя бутылками «пепси». Вяло поковырявшись вилкой в икре, Ирсанов отказался от мяса, но выпил почти половину бутылки. Шампанское приятно ударило ему в голову. Он закурил. Все время он молча наблюдал за Анджеем и думал о чем-то для себя важном. Его соображения касались Анджея и внезапно возникшего в нем яростного нежелания немедленного расставания с ним. «Может, пригласить его к себе? — думал захмелевший Ирсанов. — Покажу ему свои альбомы о балете — ему ведь это будет интересно. Когда еще увидит... Ах, нет, нельзя. Что подумает мать?! А может, пригласить его в Озерки? Там сейчас хорошо. Но зачем? Что он обо мне подумает? Нет, я начинаю положительно сходить с ума. Но я

---

не хочу с ним расставаться. Не хочу. Он завтра уедет. Может быть, навсегда. У меня ничего подобного в жизни больше никогда не будет. Никогда. Кажется, я слишком много выпил. Он подумает, что я — алкоголик. Нет, надо что-то предпринять».

Когда они вышли на набережную канала и пошли в сторону Спаса-на-Крови, Анджей вдруг сказал:

— Мне вообще-то надо на Восстания. Но мне так не хочется туда. Это ведь мой последний вечер в Ленинграде, такой приятный. Может, мы еще погуляем? Если вы не спешите, конечно. Я только позвоню на Восстания — скажу им что-нибудь, чтобы они не беспокоились. Вы не против?

— Конечно, Анджей! Конечно, — очень громко сказал Ирсанов. Он был счастлив и готов был всю ночь гулять по городу со своим новым другом. Однако холод усиливался. Ирсанов видел, как замерзает Анджей в своей короткой курточке и в достаточно тонких брюках.

— А давайте, Анджей, поедem ко мне — попьем чайку или кофе? У меня там есть хорошая музыка — весь Чайковский, Моцарт. Я привез отличные записи из Америки.

— Это где «там» — на Васильевском? Это далеко отсюда? На метро?

— Нет, не Васильевском. На Васильевский уже довольно поздно. Мне не хотелось бы будить мать, да и собака может залаять, хотя она уже и старая и глухая. Но ведь именно глухие, — почему-то вдруг уверился в этом Юрий Александрович, — хорошо слышат.

— Разве?

— А Бетховен?

— А тогда куда мы поедем?

— В Озерки. Это на такси минут двадцать-тридцать.

— А что там у вас? Еще одна квартира?

— Да небольшой домик, что-то вроде дачи, я там живу с детства и там очень уютно, тепло, есть еда и чай.

— А я не опоздаю на поезд? У меня поезд в час дня.

— Я вас привезу прямо на вокзал.

— А мои вещи — сумка и кое-какие книжки и подарки, что я купил Ромашке...

— Кому-кому?

— Ромашке. Роме. Это мой младший братишка, ему еще только пять лет. — Немного помолчав и что-то решив про себя, Анджей добавил: — А знаете что, я сейчас забегу к своим родственникам, возьму — очень быстро — свою сумку и пакет. Я с ними быстро попрощаюсь — и все. Вы не против?

---

Когда они быстрым шагом дошли до улицы Восстания, Анджей побежал в парадный подъезд высокого дома, а Ирсанов, оставшись на улице, стал ловить такси. Он уже сидел в машине, когда с сумкой наперевес из парадного вышел мальчик. Ирсанов, открыв дверь «Волги», махнул Анджею рукой. Машина сорвалась с места и понеслась в сторону Литейного моста, а там, уже совсем скоро, пролетев по улицам и проспектам Петроградской стороны, вырвалась на Приморское шоссе, по левую сторону которого темнели воды Финского залива. Ирсанов и Анджей в машине почти не разговаривали. Устроившись на заднем сиденье, мальчик задремал, склонив свою головку на плечо Ирсанова. Шофер включил приемник и из него полилась тихая музыка. За плотно закрытыми окнами «Волги» посвистывал резкий вечерний ветер. Дорога была пустынна и освещалась сине-желтым светом фонарей, отчего кусты и деревья вдоль шоссе казались еще более черными и густыми. До Озерков они доехали довольно быстро.

Кругом темнели заколоченные дачи и редкие здесь уличные фонари, кроме серо-

---

го и ноздреватого снега под ними, почти ничего не освещали. Воздух был густ и плотен. Чернели тополя, кусты голой сирени, чернели заборы, чернела на взгорках земля. В окнах некоторых домиков тускло горел свет. В глуши поселка заливалась частым беззлобным лаем какая-то дворняжка, и со стороны города ей отвечал такой же залиvistый лай. Высоко в небе вспыхивали точки редких звезд. Здешняя тишина показалась Ирсанову и волшебной, и желанной, и он торопился как можно больше вобрать в легкие здешнего чистого воздуха. От дороги к даче нужно было еще немного пройти, и это тоже показалось Ирсанову благом. «Как здесь красиво!» — громко сказал Анджей. Но Ирсанов почему-то не услышал его слов. Он ни о чем сейчас не думал, ничего, кроме лая собак, не слышал и хотел только одного — побыстрее войти в дом и выпить там чая.

Они вошли в дом. В тесной прихожей перегорела лампочка, и Ирсанову пришлось, не снимая плаща, пройти в комнаты и зажечь настольную лампу под высоким зеленым абажуром. Дача была обставлена просто — специально для нее заказанной мебелью светлого, покрытого лаком дерева. На таких же деревянных стенах висели под

---

стеклами в тонких металлических рамках, верно, здесь писанные акварели — единственное, что еще напоминало Юрию Александровичу о жене и своем с ней прошедшем. Все окна дачи были плотно закрыты тяжелыми занавесями — подобием гобеленов — темно-желтого цвета с темно-синими по желтому большими цветами. Рассмотрев интерьер комнаты, Анджей заметил:

— В солнечный день здесь, наверно все сияет. Да?

— Да. Летом здесь великолепно, Анджей. Весь дом в сирени, а на клумбах полно цветов.

— А эти рисунки... Они чьи? Ваши?

— Нет, что ты! Я и не умею рисовать, и, признаться, не понимаю живопись. — Сказав эти слова, Ирсанов вдруг сообразил, что обратился к Анджею на «ты», чего от себя совсем не ожидал и потому смутился, но исправлять сказанное не стал. — Это моя жена рисовала, давным-давно.

— Она умерла? — решил посочувствовать Ирсанову Анджей. Ирсанов искренне рассмеялся и, не найдясь в ответе, сказал:

— Не совсем, Анджей. Я пойду в кухню, поставлю нам чай, а ты, если хочешь, по-

смотри журналы — здесь масса журналов по искусству — или включи магнитофон, кассеты внизу. Сейчас я поищу, что здесь имеется к чаю. Должно быть варенье и шоколад, если мыши не подобрали.

— Да мы уже ведь поели, довольно хорошо. Я вообще стараюсь есть меньше, чтобы не полнеть. Говорят, я склонен к полноте. При моем росте это — трагедия.

— Ну... Я бы не сказал, — ответил Ирсанов только затем, чтобы что-то сказать. Еще там, в театре, узнав, что Анджей профессионально танцует, он подумал о том, что с таким ростом у юноши могут быть и будут проблемы с репертуаром, хотя в руках опытного и талантливого хореографа «из этого мальчика на сцене может получиться нечто немислимое. Тому есть примеры в мировом балете — Вацлав Нижинский и Барышников. Как жаль, что уже нет Якобсона! Этим юношей, — думал про себя Ирсанов, — он украсил бы русский и мировой балет!».

— А сколько теперь времени? Который час? — поинтересовался Анджей. Ирсанов, посмотрев на часы, ответил ему из кухни:

— Четверть двенадцатого. А что? Ты хочешь спать? Вот сейчас напьемся чая и ляжем спать. Подними, пожалуйста, тахту.

---

Там подушки, одеяло и все прочее. Если будет холодно, я включу электропечь. Ванная и туалет в прихожей налево, но там зверски холодная вода. Смотри, не простудись.

Заваривая чай, открывая банки с разными вареньями, освобождая от фольги шоколад, Юрий Александрович силился вспомнить: тогда, в юности, оставался ли он когда-нибудь в этом доме наедине с Ильей, но «ничего такого» не вспомнил. И почему-то этому обрадовался.

За чаем Анджей рассказал Ирсанову о себе «все-все». Это был стройный рассказ восемнадцатилетнего юноши о своей еще только начинавшейся жизни, которую мальчик сумел подчинить творчеству и поэтому делился сейчас с Ирсановым своими планами на будущее, которое он, Анджей, представлял себе вполне конкретно, весьма реалистично и связывал непременно с Кировским балетом. Ирсанов слушал мальчика с интересом и вниманием и не задавал никаких вопросов. Он лишь обратил внимание на то, что Анджей довольно проворно разобрал постель, сам включил электронагреватель и под воздействием тепла

---

от него снял с себя свои тесные брюки, рубашку и свитер, и сидел теперь за столом в одной футболке с короткими рукавами и в тонких трикотажных трусиках, ловко и красиво подобрав под себя одну ногу. Ирсанов отметил про себя, что если бы не диета, которой, видимо, Анджей строго придерживается, и не систематические занятия в зале, он и в самом деле мог бы быть более полным, но теперь его руки и ноги были плавно очерчены мышцами, которые при каждом движении этого маленького тела вздрагивали, наливались упругой силой, излучая свет молодости и готовности к любви. «Как он чудно хорош, — подумалось Ирсанову. — даже если бы я только смотрел на него всю оставшуюся жизнь, я и тогда был бы счастлив! Если бы у меня был сын, я хотел бы, чтобы он был таким, как ты, милый Анджей — только таким, с такими глазами, с такими вихрами, с таким поворотом головы...» Ирсанов сидел напротив Анджея, сняв пиджак и скинув туфли, в один носках, но пол был устлан старым шерстяным ковром и потому ноги не чувствовали холода.

— Скажи, Анджей, это ничего, что я так много курю? — спросил Ирсанов, хотя совсем о другом, совсем о другом хотел он

---

спросить мальчика в эту минуту.

— Курите на здоровье! — весело ответил Анджей. — На здоровье? Ха-ха! Какое уж тут здоровье!?! Сплошной яд. Я никогда не буду курить. Но иногда мне нравится, когда рядом курят, лишь иногда и такие сигареты, как у вас. — Сказать по правде, Ирсанов курил обыкновенные «Родопи» и комплимент Анджея его сигаретам он воспринял по-своему, со значением. И ему это понравилось.

— А скажи, Анджей, у тебя есть любимая девушка? Тебе ведь уже восемнадцать лет.

— Да, на прошлой неделе исполнилось — как раз перед отъездом в Ленинград. Но я не отмечал. Так, сходил с ребятами из группы в мороженицу, они туда и вина еще принесли, но я вино не пью — никакое. А девушки у меня нет. Любимой. И нелюбимой тоже нет.

— ???

— Я не их идеал. Из-за моего роста, наверное... Да меня, знаете, это не волнует совсем.

— Странно...

— Да ничего странного тут нет, — серьезно отвечал Анджей. — Во-первых, я еще очень молод, а, во-вторых, я этих девушек

уже насмотрелся в училище. Правда, есть одна — Наташа. Она меня во всем понимает, мы с ней дружим с первого класса. Я все ей могу рассказать про себя. У нее есть парень... И он мне ужасно нравится. Он в этом году закончил училище и уже распределился в Новосибирский театр. Уехал и даже не простился с Наташей. Он прекрасный танцовщик. Что называется, от Бога. Высокий, стройный...

— Он знает, что ты ему симпатизируешь?

— Не знаю, Я не думал об этом.

— А Наташа — она знает?

— Она — знает, но, конечно, не в том смысле, как вы думаете.

— А я «в том смысле» ничего не думаю, Анджей. И уже поздно. Завтра рано вставать. Я не уверен, что в этой глуши мы быстро найдем такси. Придется ехать на электричке.

— Пожалуй. — сказал Анджей и добавил: — Вообще-то после такого крепкого чая и спать не хочется. Но вы правы — пора.

— Нам, Анджей, придется лечь вместе. Здесь нет другой постели. Потому что здесь живу только я один, когда приезжаю сюда летом или весной...

— А ваша семья? — спросил Анджей. —

---

Жена?..

— У меня нет семьи, — в некотором раздражении ответил Ирсанов.

Вопросы Анджея сделались ему неприятны. И мальчик это понял и почувствовал, поэтому между ним и Ирсановым возникла сейчас та немая тишина, при которой внутренний диалог все еще может быть продолжен, но без взаимных слов и каких-либо жестов. Так бывает только между очень близкими людьми по крови, по духу, по чувственным связям и переживаниям, и, кажется, нечто родственное одной из таких близостей возникало сейчас между сорокапятилетним мужчиной, испытавшим в жизни многие ее радости, и этим юношей, еще совсем подростком, приготовленным жизнью, как показалось Юрию Александровичу, ко многим печальям.

Деликатный мальчик не стал повторять свои вопросы или делать новые. Он быстро скинул с себя футболку и в одних трусиках убежал в ванную комнату, где под ледяной водой помыл лицо, обтер мохнатым полотенцем тело и быстро вернулся в комнату.

Ирсанов все еще сидел у стола. Он налил новую чашку чая, закурил новую сигарету.

— А вы? — тихо спросил Анджей и забрался под прохладное одеяло. — вы только свет пока не тушите, — попросил он.

— А что так?

— А как же вы будете впотьмах раздеваться?

— А, хорошо, Анджей, хорошо. Только ты напрасно все с себя снял. Здесь не слишком тепло.

— Нет, здесь вполне тепло. Да я всегда так сплю — почти голый. Тело должно отдыхать. А вы?

Эти слова мальчика оказались Ирсанову очень знакомыми. Он уже слышал их. В Комарово. Лет тридцать тому назад. От Ильи. Он вспомнил или точнее — никогда не забывал того, что за этими словами ТОГДА последовало. Он жил ЭТИМ всю последующую жизнь, и всю эту последующую жизнь, до встречи с Анджеем, он только и делал, что отмахивался от ЭТИХ слов, от ЭТИХ воспоминаний, от любых скольконибудь близких им ассоциаций в повседневной жизни, в прочитанных книгах, в памятниках культуры, в разговорах, которые иногда затевала Лидия Ивановна по поводу чьей-то жизни и судьбы. Он понимал, что поступает правильно, но правила, по которым он жил, был семейно благопо-

---

лучен, материально независим, творчески состоятелен и продуктивен — эти правила сжимали ему горло мертвой хваткой. Поездка в Америку, встреча с Ильей, увиденное и узнанное в Сан-Франциско — все это еще сильнее убедило Ирсанова вернуться к самому себе — подлинному, истинно настоящему, попытаться быть снова таким, каким был он с Ильей в те давние годы. И вот на пути Ирсанова к самому себе ему явился Ангел в облике этого бесподобного мальчика, который лежал теперь в его постели, смежив веки для сна...

Анджей спал, запустив обе руки под большую подушку. Зеленый свет абажура настольной лампы освещал его совсем еще детское лицо. Сняв только галстук, Ирсанов приблизился к спящему и лег рядом с ним поверх одеяла. Он не хотел включать лампу, чтобы лучше видеть лицо мальчика. Почувствовав чужое тепло, Анджей высвободил руки и тихо, не просыпаясь, обнял Ирсанова за шею и прижался к нему под одеялом. «Я люблю тебя, Анджей», — только и смог произнести Ирсанов в ту ночь. Теперь оба они — маленький мальчик под верблюжьим одеялом и взрослый мужчина

в белоснежной рубашке и хорошо отутюженных брюках — спали теперь, утомленные впечатлениями минувшего вечера, в деревянном доме ночных Озерков чутким, чувствуящим один другого сном. И эта ночь, как после решил Ирсанов, была одной из лучших в его жизни после Ильи.

Ирсанов проснулся раньше обычного. Анджей продолжал крепко спать, завернувшись в одеяло. На дворе было еще темно, но что-то в природе, в обступавшей дом тишине говорило об утренних часах и минутах. Сняв наконец-то рубашку, Ирсанов умылся обжигающе холодной водой, вскипятил чайник и снова заварил свой любимый индийский чай. Вернувшись из кухни в комнату, он сел за стол и стал пить свой свежий чай — без сахара, как он это всегда делал, и без варенья. Сейчас он думал о том, что было бы хорошо пораньше вернуться в город, чтобы успеть до поезда накормить мальчика хорошим завтраком и какое-то время еще побыть с ним. Никакие иные мысли — о себе, о своем прошлом, о матери, которая так и не дождалась его из театра, о Жоли, с которой сейчас некому погулять, о своей работе — не посещали его

---

сейчас. Он только подумал, что после отъезда Анджея его жизнь опустеет, и чтобы заполнить эту пустоту, он должен будет придумать новый повод для работы или хотя бы закончить начатую для одного журнала статью. Еще он вспомнил Лидию Ивановну, которую — против обыкновения — ему совсем не хотелось бы видеть ни сегодня, ни завтра.

— Анджей... Анджей... Проснись, детка. Уже пора, — выговорил Ирсанов, подойдя к спящему юноше.

Он тихо и осторожно дотронулся до его лба. Мальчик сразу проснулся и улыбнулся Ирсанову:

— Да, да. Встаю, — сказал он громко и, мигом откинув одеяло, встал с постели. Ирсанов привлек Анджея к себе и стал медленно целовать мальчика в шею, в грудь... Анджей не сопротивлялся, а Ирсанов только теперь заметил, что он стоит перед мальчиком без рубашки, под которой Ирсанов никогда не носил ни футболок, ни маек даже в зимнюю стужу.

Некоторое время они стояли так друг против друга, тесно обнявшись. руки совсем не слушались Ирсанова и эта их смелость и своеволие нравились Анджею.

— Вы не бойтесь, — шептал он Ирсано-

ву в самые губы, — я еще к вам приеду, совсем скоро. Подождите немножко. Я обязательно приеду к вам. Честное слово.

До поезда, на котором Анджей должен был сегодня уехать в свой К..., оставалось меньше двух часов. надо спешить. Ирсанов предложил Анджею чашку чая с шоколадкой, и минут через десять, захватив сумку мальчика с вещами, подарками и книгами, они вышли на шоссе. В эти утренние часы ни о каком такси в здешнем захолустье не могло быть и речи. Прочие машины тоже пробегали мимо без остановок, хотя Ирсанов усиленно «голосовал» и готов был заплатить за дорогу в город, что называется, любые деньги. Он видел, как замерз мальчик в своей курточке, и это тоже доставляло ему страдание. Но вскоре на знак Ирсанова остановился новенький «жигуленок». За рулем — обворожительной красоты женщина тех самых опасных лет, в которые женская привлекательность способна заманить в свои тенета или еще очень неопытного юнца, или мужчину такого возраста, когда подобные приобретения для него уже не слишком обязательны и необходимы. Рядом с женщиной сидел молодой че-

---

ловец лет двадцати с лицом ангела, бывшего в ближайшие сутки в употреблении у блудницы. Так во всяком случае показалось Юрию Александровичу.

Ирсанов и Анджей разместились на заднем сиденьи. Не успела машина тронуться с места, как Анджей, повалившись своей головкой на плечо Ирсанова, тут же заснул. Ирсанов обнял мальчика, словно боясь, что дама за рулем может сейчас отнять у него его сокровище. Дама прервала молчание:

— Я понимаю, что в город. Куда конкретно? Я почти опаздываю на работу. Кстати, если вы курите, то курите с Богом, — дама протянула через плечо пачку «Мальборо» для Ирсанова. Он не посмел отказаться.

Он бегло объяснил даме свои и Анджея обстоятельства, назвав мальчика своим сыном. Внешне, если кому-нибудь пришлось бы принять их за отца и сына, а даме за рулем ничего другого не оставалось, они были разительно непохожи, но как все любовники в мире, они имели сейчас поразительное внешнее сходство, где-то уже подмеченное и описанное Гете волнующей прозой. Кстати, дама и дремавший рядом с ней молодой человек тоже имели некоторое сходство — совсем не родственное.

---

Посмотрев на часы, что-то соображая, Ирсанов стал просить даму отвезти их в Пулково: «Боюсь, что на поезд он уже опаздывает. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Я очень хорошо заплачу». Сказав эти последние слова, Ирсанов почувствовал что они лишние и устыдился. Он почувствовал легкий аромат хороших французских духов в салоне автомобиля. Он видел, что в ушах женщины сияют настоящие бриллианты. Пальцы ее рук, уверенно ведущих машину на приличной скорости, украшены дорогими кольцами, браслетами и часами. Какой-нибудь «стольник» за такую поездку в Пулково мог бы ее оскорбить, но ничем иным, кроме денег, Ирсанов не мог расплатиться с ней за эту услугу и любезность.

Чтобы не ехать уж совсем в полном молчании, дама за рулем вставила в магнитофон кассету с каким-то французским певцом. Ирсанов узнал Шарля Азнавура.

— Вы тоже с сыном? — робко поинтересовался Ирсанов, не выпуская из объятий Анджея. Дама как-то странно ответила ему на вопрос:

— Его зовут Саша. В этом году он заканчивает десятый и хочет поступать на юридический.

— Почему вдруг туда?

— Он считает, что в роли Порфирия Петровича сможет спасти не одного Раскольникова.

— А разве тот его спас?

— Давайте уже познакомимся.

— Ирсанов, Юрий Александрович.

— Табачник, Людмила Александровна. Адвокат. Вам я, — продолжила Табачник, весело и понимающе улыбаясь Ирсанову, найдя его лицо в зеркале заднего вида, — Юрий Александрович, рекомендую как можно позже прибегнуть к моей помощи. Вот вам моя визитка.

— А что так?

— Сейчас, знаете ли, не время и не место для правового просвещения. Но вы мне, проводив сынишку, позвоните в конце недели. Не пожалеете. Кстати, я о вас уже слышала. От Лидии Ивановны.

— Вы ее знаете! — обрадовался Ирсанов.

— И даже читала, если вы не однофамилец автора, некоторые ваши работы — об Артюре Рембо, о Вийоне. Странно, что я вас до сих пор не встречала у Лидии Ивановны. Она о вас всегда очень тепло говорит.

— В какой связи, позвольте узнать?

— О! Только в литературной. Вы, кажется, и прозу пишете?

— Да. Но очень мало и в стол.

— Значит, наша пресловутая гласность еще вас не коснулась? А вообще, вы знаете: нынче жить интересней, чем читать. И писать, я полагаю. Или Озерки — это ваше Переделкино? Что-то непохоже.

— Нет, почему. Летом я обычно живу здесь. И работаю здесь. Раньше здесь, конечно, было все совсем по-другому — старые дачи, петербургский колорит. А теперь...

— Да, теперь здесь сплошная социалистическая индустрия. Уже добрались и до Сестрорецка, — у меня еще и там квартира, мужа, но он в семидесятые рванул в Израиль, теперь живет в Англии, мы иногда там видимся, — и до Зеленогорска. Варварски оттяпать такую территорию у финнов и так ее загадить — это, знаете ли, не каждому дано. Я месяц тому как была в Хельсинки и в Турку и вообще проехала по Финляндии на машине. Боже, на таком, можно сказать, клочке земли столько порядка и богатства и красоты! А мы, русские, невообразимы!

— Это все, видимо, от таинств славянской души, — предположил Ирсанов, вер-

---

но попадая в тон Табачник, ибо есть среди нас люди, и женщины в особенности, чей разговор так умело сконструирован, так музыкален, что всякий раз они провоцируют нас на необходимость совсем невольно им подражать. Должно быть, это свойство сильных и остроумных натур.

— Ну вот, приехали, Пулково.

— Сколько я вам обязан, Людмила Александровна?

— Я вам по этому поводу специально позвоню. Прощайте. Было приятно пообщаться с вами живьем. Не забудьте в машине сына.

Ирсанов осторожно разбудил Анджея и теперь, глядя на него, Людмила Александровна Табачник мысленно отметила про себя: «Не моего вкуса. Но как хорош. Да и сам Ирсанов еще очень вполне. Надо бы помочь ему сойти с этой скользкой стези. Что за черт! Как только встретишь приличного мужчину — он или алкоголик, или...»

На ходу объясняя Анджею причины, по которым они оказались здесь, в Пулково, а не на Московском вокзале, они подошли к стене с расписанием. Самолет, на котором Анджеей смог бы сегодня улететь в

---

свой К..., вылетал из Ленинграда через два часа. Разумеется, никаких билетов в кассах не было и никогда не будет. Анджея это ужасно расстроило: «Мои родители обалдеют и больше меня из дому не выпустят. Уж лучше бы мы поехали на вокзал», на что Ирсанов сказал: «Не волнуйся. Билеты я достану. Дома ты окажешься вовремя. И не надо будет трястись в нудном поезде двое суток. Сказано же: «Летайте самолетами Аэрофлота!»

Ирсанов предложил Анджею сначала позавтракать. Они поднялись в ресторан. Сунув официанту сразу крупную купюру в качестве гарантии более скорого обслуживания и оставив Анджея за столиком разбираться в скудном меню, Ирсанов побежал в отсек «Интуриста», где благодаря своей американской кредитной карточке без проблем купил Анджею билет на самолет.

— Вот твой билет, — сказал он мальчику, вернувшись за столик.

— Как вам это удалось — так быстро?

— Это дело техники, Анджей. Как-нибудь потом объясню. Ешь. Да и я, признаться, проголодался.

— Мне перед вами очень неловко. Вы все время платите.

— Не бери в голову. Ешь. Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, я тоже был практически без денег, хотя мой папа был профессором и мы жили в достатке. Вот когда ты сделаешь свою карьеру и станешь танцевать на мировых сценах, а я к тому времени буду больным и нищим, ты меня материально поддержишь. Договорились?

— Договорились, — вполне серьезно ответил мальчик. — Я вам тогда куплю самый большой торт.

— А теперь Анджей, поскольку в нашем родном «Аэрофлоте» не кормят, не поят, купи себе в дорогу чего хочешь. Пепси, бутерброды, шоколад. Тебе далеко от аэропорта до дому добираться еще?

— Далеко. Час на автобусе.

— Прилетишь — пожалуйста, позвони. Вот тебе деньги на телефон. Бери, бери, нынче это дело сильно подорожало. В принципе я всегда дома, но лучше звонить или утром, или вечером, после шести, потому что я иногда ухожу работать в библиотеку.

— А сегодня когда позвонить?

— Как только — так сразу. Прямо из аэропорта. Я буду ждать. Но постарайся позвонить до семи часов. Вечером я должен буду пойти в гости к моим старым друзь-

ям. Я с ними давно не виделся и кое-чем им обязан. Ну хотя бы тем, что это они предложили мне пойти в театр и дали эти билеты. Если бы не они, мы ведь с тобой никогда бы не встретились, Анджей. Мне так грустно расставаться с тобой!

— И мне — тоже грустно. Я вам напишу и буду звонить. Я буду скучать по вас. Мне с вами было хорошо и интересно. Я вам за все, за все очень благодарен.

Когда они спускались вниз на регистрацию рейса, Ирсанов, прежде стеснявшийся людских глаз для любых выражений нежности, обнял Анджея и поцеловал его прямо в губы: «Я люблю тебя, Анджей. Звони. Пиши. Я всегда буду ждать тебя».

## ПОСТСКРИПТУМ

«...Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой Роман».

*Б. Пастернак,  
из писем к А. С. Эфрон.*

Только в самолете Анджей сообразил, что Юрий Александрович не оставил ему ни номера своего телефона, ни свой адрес. И теперь несчастный мальчик, прислонясь влажным от волнения лбом к иллюминатору, тихо плакал. Так плачут только повзрос-

---

левшие дети.

Только на обратном пути в город, в душном переполненном автобусе, поскольку сесть в такси или нанять частника возле аэропорта не так уж и просто, Ирсанов, приготавливая мелочь для уплаты за проезд, увидел в портмоне свою визитку и вспомнил, что забыл отдать ее Анджею, хотя хотел сделать это еще тогда, когда обменивался с Л. А. Табачник номерами телефонов. От этого открытия у Юрия Александровича потемнело в глазах. Он вышел из автобуса на первой же остановке и, никак себе этого не объясняя, быстрыми шагами пошел по шоссе в сторону города. Им овладела та степень отчаяния, после которой все утешения уже бесполезны и не нужны. Но тут он вспомнил о своем доме, о матери, о Жоли, и стал ловить любую попутную машину. От горя он даже позабыл закурить, хотя постоянно нащупывал в кармане плаща сигареты и зажигалку. Минут через сорок он уже входил в свою квартиру на Васильевском...

Измученная недугами и старостью собака никак не откликнулась на возвращение хозяина, поэтому Ирсанов, раздевшись в

---

прихожей, быстро прошел на половину матери. Старушка, сидевшая, как всегда, за «уж очень головоломным пасьянсом», встретила сына философически:

— С Жоли утром погуляла Лидочка. Она тебе звонила, я ей сказала, что ты еще в опере. А вчера поздно, к ночи почти, тебе звонил Илья из Америки. Сказал, что будет звонить сегодня в это же время. У меня мигрень и меня не тронь.

Выслушав мать, Ирсанов поцеловал ее в щеку и пошел в свою комнату. Там он смолот себе немного кофе, сварил его, добавив в кофеварку старой воды из графина, налил маленькую рюмку коньяка. Употребив коньяк и кофе, закурил и набрал номер Лидии Ивановны. Он поблагодарил ее за Жоли, за билеты, сообщил, что внезапно оказался после театра у себя в Озерках. и просил принять его «сию минуту».

— О чем речь!?! Валяйте! Я, правда, не прибрана с утра, но вы меня всякую видели. — Здесь, конечно, Лидия Ивановна сильно преувеличивала, потому что видеть ее «всякую» удавалось лишь ее интимным друзьям, а Ирсанов в этот круг и в это число не входил ни прежде, ни тем более теперь.

Закупив по дороге «пук цветочков», он

---

очень быстро добрался до Лидии Ивановны, оказавшейся на сей раз в новом «неимоверном» халате — «конечно, японском».

— Я не одна. У меня приятельница, но она тотчас уйдет. Проходите.

Каково же было изумление Юрия Александровича, когда он, войдя в гостиную, увидел там в креслах... Людмилу Александровну. Дамы пили что-то между минеральной водой и лимонным соком.

— Знакомьтесь, — представила хозяйка гостя своей приятельнице, — доктор Ирсанов. Юрий Александрович. Прошу любить и жалю...

— Мы уже сегодня виделись, Лидочка, — и обратясь к Юрию Александровичу, энергичная Табачник как бы продолжила ранее прерванную между нею и Юрием Александровичем беседу. — Что ваш племянш? Или сын? Я уже запомятовала. Как, улетел в свой К...?

Ирсанов побледнел и онемел одновременно, но выручила Лидия Ивановна:

— Я всегда знала за вами, Юра, только двух дочерей. А что у вас есть еще и сын в этом К..., для меня это, признаться, существенное открытие. Вы иногда умеете сочинить какой-нибудь замысловатый сюжет. Это у вас от Стендаля, верно.

Привыкшая знать о своих друзьях «буквально все», Лидия Ивановна была сейчас и озадачена, и раздражена одновременно. Табачник смекнула, что сказала лишнее, и стала быстро собираться «к бесконвойному передвижению в зоне свободного предпринимательства». Ныне она служила — по совместительству, не оставляя судебной практики, — юрисконсультантом в каком-то совместном предприятии, поскольку сильнее всех благ жизни ценила самофинансирование и самокупаемость. Именно это, а не первый и последний ее муж, побуждали Л. А. Табачник бывать в Лондоне «не менее трех раз в году».

— А вы-то как, Людочка, познакомились с этим господином? — не удержалась от вопроса Лидия Ивановна.

— Я? В очереди за «ножками Буша». Давали без талонов. Впрочем, о ножках, полагаю, Юрий Александрович сделает вам, Лидочка, чистосердечное признание. А меня ждут потерпевшие. Всех благ!

Шумно надев шубку, расцеловавшись с Лидией Ивановной, Табачник вышла из квартиры, не требуя провожатых. Ирсанов смотрелся на большом диване Лидии Ивановны полным олухом.

— Итак, мой дорогой, начнем все снова

---

ла, — сказала Лидия Ивановна, присаживаясь на диван рядом с Юрием Александровичем. — Что до увиденных вами балетов и атмосферы в театре — я узнаю из других источников. Но у вас вид совершенно убитого человека. Что-нибудь стряслось дома? Жена что-нибудь придумала? Что-нибудь с дочерьми? Или обокрали дачу? Я слушаю вас!

— Ваша Табачник, — начал осторожно Юрий Александрович, — права только в том смысле, что мальчик действительно был.

— Я тоже так считаю, — почему-то встала Лидия Ивановна. И присовокупила: — Господи, с кем не бывает! Только слава Богу, что вас не постигла участь Пазолини.

— Что-что? — не понял Юрий Александрович.

— Ну, об этом как-нибудь в другой раз. А чем замечателен ваш случай?

— Я познакомился с ним в театре. Но сегодня утром он улетел в К..., к себе домой. Он там учится в хореографическом училище. Мы договорились, что он мне позвонит и сообщит как долетел. И вообще. Но я совсем позабыл дать ему свой телефон и адрес. Все так неожиданно и скоро получилось. Вы меня понимаете?

— Пытаюсь. Продолжайте.

---

— Лидия Ивановна, дорогая, у вас по всему свету друзья и знакомые. Помогите мне раздобыть его телефон в К... или адрес.

— Как его ФИО?

— Анджей Кратовский. Ему восемнадцать. Он в выпускном классе.

Выслушав Юрия Александровича, Лидия Ивановна начала почему-то яростно жевать ломтики лимона, что означало в ней начало и конец мыслительного процесса. Минут через несколько она сказала:

— Вы тут посидите. Вот вам еще сок, минералка. Хотите — открывайте коньяк и начинайте без меня. Я пойду телефонировать. Анджей Кратовский? Вы уверены? — И не дождавшись от Юрия Александровича ответа, который, впрочем, был ей и не нужен, Лидия Ивановна удалилась в свою комнату.

Юрий Александрович и в самом деле открыл бутылку коньяка и налил из нее в свой высокий стакан довольно прилично. На душе у него стало более спокойно, поскольку, вверяя себя и Анджею Лидии Ивановне, он был уверен в том, что она непременно что-нибудь сделает, что-нибудь почти невозможное, но просьбу Юрия Александровича выполнит. Она обладала этим редкостным талантом — жить для своих

---

друзей иногда в ущерб собственным интересам, даже собственной репутации, бывала часто используемой и в корыстных целях, это понимая и никогда не осуждая тех, кто порой злоупотреблял ее талантом. Мы не знаем наверное, умела ли Лидия Ивановна прощать. Скорее всего, не умела. Но она не была злопамятна или мстительна. Она была умна, и этого с нее было бы довольно, но она была еще и необыкновенно терпима к людям вообще, к друзьям в особенности. Внешне эта ее терпимость многими понималась как снисходительность, но сама Лидия Ивановна рассуждала примерно так: «Сделать другому пакость — дело хлопотное, но не слишком мудреное. Но другу помочь, когда он об этом просит, надо бы так, чтобы его ничем не унизить, не задеть его достоинства, не наплевать ему в душу. Иначе добро оборачивается элементарным свинством».

Менее чем через полчаса Лидия Ивановна вернулась к Юрию Александровичу «со всей необходимой информацией». Эту информацию она протянула ему в виде листа писчей бумаги: «Тут все, что вам надо».

— Но мне как-то неловко ему самому позвонить. Там могут быть родители. В конце концов это неприлично.

— Пожалуй, — согласилась Лидия Ивановна. И предложила: — Я сейчас ему сама позвоню. Если снимет трубку ваш Анджей, вы и будете разговаривать. Если нет, тогда...

— Тогда вы...

— Не учите меня жить, Юра, — сказала Лидия Ивановна с некоторым металлом в голосе, уже набирая ряд необходимых цифр и выходя на город К... К телефону подошла женщина, должно быть, мать Анджея: «Анджея нет дома. Он в училище. Что ему передать? Из Ленинграда? Вы кто — Раиса Максимовна Березкина?» На это Лидия Ивановна отвечала городу К...:

— Что-то вроде. Мы здесь волнуемся, как он добрался. Пусть он позвонит, когда вернется. Запишите номера двух телефонов. Записываете? Очень хорошо...

Закончив с городом К..., Лидия Ивановна поздравила Юрия Александровича, слегка захмелевшего, сильно уставшего за истекшие сутки и пожелавшего откланяться.

— Идите с Богом. Ежели Анджей позвонит сюда, я его попрошу перезвонить вам. Вы, надеюсь, будете все время дома?

— Конечно, Лидия Ивановна. Спасибо вам преогромное. За все.

— Ну, за все, допустим. не меня надо благодарить. Телефонуйте, мой милый. Да,

и скажите вашей маме, что я ее навещу где-то в пятницу утром. Если муж к этому времени вернется, мы заедем вместе. — В прихожей она поцеловала Юрия Александровича нежнее прежнего в лоб и, уже выйдя из ее квартиры и дожидаясь лифта, Юрий Александрович услышал, как Лидия Ивановна запела, удаляясь в комнаты: «О любви не говори. О ней все сказано...»

Анджей позвонил только поздно вечером и между прочим сказал Юрию Александровичу:

— Завтра я вышлю вам несколько моих фотографий — сценических и репетиционных. Как получите, пожалуйста, позвоните. Я буду очень ждать. И вообще, сразу после девяти вечера я всегда дома. А сам я вам позвоню еще и завтра. Можно?

— Тебе, Анджей, все можно, — громко сказал Ирсанов и добавил тихо, как бы стесняясь своих слов, — Я ужасно тоскую, Анджей...

— И я. Я тоже скучаю.

— Спокойной ночи, мой Ангел.

— Спокойной ночи. До свидания.

Разговор с Анджеем умиротворил Ирсанова. Приняв прохладный душ и напив-

---

шись крепкого чая, он совсем не думал сейчас о сне. Он облачился вместо халата в спортивный костюм и сел к письменному столу. Ему показалось, что он мог бы сейчас написать о двух балетах Джорджа Баланчина что-то вроде проникновенного эссе, но обмокнутое в синие чернила перо «уточка», какими писали лет тридцать назад старшеклассники, студенты и канцеляристы всех рангов и уровней и какими уже никто давным-давно не пишет даже на русских почтах и телеграфах, сообщило руке Ирсанова небывалую скорость и таким образом вырвалось за пределы намеченного автором жанра. За окнами комнаты Ирсанова дыбилась пенными волнами Нева, освещаемая желтизной воспетых поэтом фонарей, дул сильный петербургский ветер, раскачивая старые рамы, шевеля гардины. В этом ночном шуме Ирсанову чудилась небывалая музыка, и он спешил преобразить ее в небывалые прежде слова.

*Канзас—Стокгольм—СПб,  
1989—1991 годы*

Алексей Пурин

## АНТИНОЙ ВО ЛЬДУ, ИЛИ МИР ГЕННАДИЯ ТРИФОНОВА

Лютей и краше нашей истории и нашей действительности только наша литература. На плече ахматовского Кифареда сидит флейтоподобная красногрудая птичка, отпевшая некогда державинского генералиссимуса-альпиниста. Сам же Кифаред стоит по колено в снегу, как некий наполеоновский гренадер-усач. Города наши еще горят, в зрачках — кровавые мальчики. Дымок костра тянется в вечер; и холодок штыка поспешает. Хлебниковский «поцелуй на морозе». Оледенелая музыка — вместо устриц во льду. Редкая птаха, на лету замерзая, дотянет до середины Днепра... Каково тут уроженцу сладостной Вифинии и теплокровного Клавдиополя — Антиною, приведенному за руку Кузминым? Сберегут ли его Платоновы крылья?

«Мне было все равно, что ты мое крыло нечаянно сломал, когда «люблю» сказал. Ты был хорош со мной, как снегопад с зимой», — пишет Геннадий Трифонов, истинный последователь кузминского платонизма, в своих «Письмах из тюрьмы». В другом стихотворе-

нии этого цикла платоновский идеализм выражен еще победительней: все привнесенные обстоятельства отменяются, остаются лишь ты, я и связующе-разъединяющий их образ мира — столь же одушевленного, как эти ты и я:

Кому-то твой зрачок в ночи  
и рот твой выпуклый и жаркий.  
Кому-то все твои подарки,  
мною позабытые почти.  
А мне — веселый этот снег  
сознанием родства с тобою.  
Он над моею головою  
обозначает белый свет.  
Он льнет к черновикам моим,  
в судьбу их бережно вторгаясь,  
чтоб первых строк крутую завязь  
наполнить почерком тугим.  
Хлопочет хлопьями.  
В пургу легонько способ сообщает  
забыть тебя. И обещает:  
— Я помогу, я помогу.

«Западный Урал, февраль 1978», — значит-ся под трифоновским лагерным текстом. Снег, обозначающий *белый свет*, вторгается в черновик поэта, пересоздавая и просветляя его природу.

Поэтический мир Трифонова, чья жизнь отнюдь не была медом (четырёхлетняя отсидка, плутанья но свету), да и сегодня вряд ли им стала, поражает читателя своей неожидан-

---

ной нравственной чистотой и прозрачной нежностью. Он, этот мир, едва ли не идиличен, а точнее — едва ли не идеален. Следуя великой традиции, берущей начало в «Пире» и «Федре», поэзия и проза Трифонова одолевает «грязь и низость» дольного бытия идеалистической «мукой по где-то там сияющей красе», как однажды сказал Иннокентий Анненский.

Поэтому история Антиноя — один из самых впечатляющих любовных сюжетов античности — и вспомнилась нам не столько в связи с гомоэротической тематикой автора, но прежде всего — в связи с его художественным методом, который нацелен на превращение косной материи в «сияющую красу» идеала, направлен на одушевление и наделение смыслом жалкого мерзлого быта. Кто ж, после неоплатоников, гностиков, после Кузмина наконец, не ведает, что душа окрыляется мукой, а пожирающая листву гусеница болезненно метаморфирует в ангелоподобную бабочку, почти лишённую изменного и прикладного значения? В итоге остается чистая и томительная красота с красота души. А эту уж энтелехию ничто не страшит.

Юноша Антиной утонул в Ниле, а Адриан, оставивший города и веси огромной империи изображениями погибшего обожеств-

---

ленного возлюбленного, сочинил горькую автоэпитафию:

Душа, скиталица нежная,  
Телу гостя и спутница,  
Уходишь ты нынче в края  
Бледные, мрачные, голые,  
Где радость дарить будет некому.

Особо знаменательна последняя строчка, дышащая чуть ли ни новозаветною новизной: дарить, а не брать. Император Адриан жил в эпоху, когда платонизм в обличии христианства отвоевывал мир и когда маленькая телесная страсть разрасталась в Любовь с заглавной буквы. Но сам он, увы, еще не верил в реальность радостной, попирающей смерть, встречи со своим Антиноем. Впереди ему не рай и даже не ад мерещились, а царство Плутона — «край бледный, мрачный и голый». Туда и уходила его душа.

Нам-то теперь жить легче. Мы знаем, куда ныне уходит душа. Как Пастернак объяснил во «Втором рождении»: «с Запада» — на восток. Восток, ясное дело, занесен снегом и скован льдом, опутан гулаговскою «колючкой». Но нам привычен, и здесь, кроме всего прочего, все-таки есть кому дарить и у кого брать радость. Об этом, в сущности, и повествует Трифонов — скажем, в романе «Сетка», куда

---

больше напоминающем Лонга с Гелиодором, чем Шаламова с Солженицыным. Можно, разумеется, спорить о том, что лучше в художественно-стилистическом плане — нежная незлобивость традиционной идиллии или язвущая наблюдательность реализма; но тональность эллинистического романа здесь всерьез проверена временем.

Геннадий Трифонов прекрасно осознает возможности свойственной его перу стилистической манеры и ни на йоту не отступает от своего этического и эстетического кредо. Человек, полный жизни и жизнью заинтригованный, он, однако, уже успел написать свою автоэпитафию, свой «*Ergi monumentum...*» — причем написал его там, где, по выражению Державина, «с Рифея льет Урал», в краю «мрачном и голом», в лагере:

Вы говорите, я один  
воспел все то, что петь запретно,  
когда мы любим безответно  
того, кто нам необходим.  
Того, кто нашу жизнь, как сад,  
из черных веток образует,  
когда нас Бог в уста целует,  
как эту землю снегопад.

Трифоновская самооценка, выдержанная в излюбленных им черно-белых тонах плато-

---

нического двоемирия, глубока и верна. Бог поминается тут не «ради красного словца» с ради слова, которое в России всегда крупнее и значимей всякого дела. За слово, а совсем не за дело, у нас и сажают. Прежде всего — за слово «любовь».

Геннадию Трифонову посчастливилось произнести это слово вовремя, пробив немоту, наступившую в начале тридцатых годов, когда наши властители с тоже своего рода «платоники», только вульгарные и по-материалистски ущербные с как бы вычеркнули «идею» однополой любви (а вернее даже — идею любви человеческой, внесударственной и внеклассовой) из своего «идеального» универсума. Противостояние Трифонова и советской власти, следствием которого стало его заключение, имело некий философский оттенок: писатель, как сказали бы на марксистско-ленинском новоязе, «протащил идейку» — сам того, конечно, не ведая, а просто изображая свой мир.

В плане такого неожиданного и несанкционированного произнесения запретного слова Трифонова можно сравнить с Кузминым, в 1906 году потрясшим читающую российскую публику целомудреннейшим романом «Крылья». Не стоит сопоставлять масштабы художников с Кузмин один из

величайших лириков XX века, с но поучительно, думаю, заметить роднящий их мотив.

В чем его суть? В том, что мир, каким бы чудовищным, несправедливым и дисгармоничным ни представлял он первому взгляду, — на самом деле прекрасен, одушевлен и оправдан. В том, что любовь — всегда дар Божий, не требующий каких-либо объяснений и априори оправданный. Человеку остается только беречь этот дар как зеницу ока. Обо всем этом — роман «Два балета Джорджа Баланчина», который читатель держит в руках.

Трифонов — писатель предельно традиционный. Как и кузминские «Крылья», вся трифоновская проза — своеобразные вариации «романа воспитания». Именно принадлежность к высокой культурной традиции дает Трифонову возможность воспарить над феноменологическими описаниями, позволяет освободиться от низменных пут узкого «тематического» интереса. С другой стороны, эта принадлежность к большому литературному контексту как раз и делает его прозу весьма занимательной — занимательной не столько для наивного читателя, на которого она как бы рассчитана, сколько для культуролога и человека, интересующегося происхождением и превращениями литературных жанров и стилей. После чтения

---

становится более понятным сам феномен европейского «романа воспитания», исток и природа этого жанра.

Попробуем разобраться.

«Все эстеты — гомосексуалисты», — говорил бравый солдат Швейк. «Сложность художественно одаренных натур весьма однообразна: куда ни плюнь, попадешь в педераста», — иронически вторив ему тонкий эстет Борис Парамонов. При желании можно утверждать, что любой классический «роман воспитания» гомосексуален. Откроем, например, «Отрочество» Толстого:

«Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом, — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче».

Толстовский Николенька здесь мало чем отличается от юных героев трифоновских

---

романов, вступающих в «предосудительные» отношения друг с другом, переживающих те же самые чувства. Предмет толстовского описания очевиден — любовь. А еще — момент окрыления, метаморфозы, рожденья души. Конкретные свойства объекта любви (пол, например) исчезающе незначительны в сравнении с нею самой — с таким состоянием нечленораздельного, но пронизательнейшего («я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня»!) воспарения и окрыления с «все выше и выше».

Состояние это, прав фрейдист Парамонов, болезненное, удаленное от благополучной бесстрастности неодушевленной природы. Человек вообще — единственная из земных тварей, испытывающая на себе несовершенство иммунной системы здоровых животных инстинктов, единственный носитель опасного вируса, разрушающего защитный панцирь биологической самости. Этот вирус — душа.

К счастью, у большинства людей заболевание душой протекает латентно и без последствий. Повзрослев, они становятся предприимчивыми охотниками (от «хочу» и «охота!») или добропорядочными семьянинами. Отроческое смешение чувств с сопереживанием и соперничества с преодолевается, теряет объем, уплощается, делает сильный крен

---

к полюсу соперничества, соревнования.

Этому излечившемуся от соперничества большинству мы, разумеется, должны быть признательны: именно они изобрели трактора, танки и прочие полезные вещи подлунного мира. Хотелось бы, впрочем, чтобы они были чуть более терпимы к тем, у кого болезнь души протекает с повышенной температурой — к художникам. Такая терпимость вполне возможна и обоюдовыгодна. А замораживать Антиноев и Адрианов вблизи рифейских отрогов — попросту старомодно и, как показывает опыт писателя Геннадия Трифонова, бессмысленно.

## ОБ АВТОРЕ

Геннадий ТРИФОНОВ родился в 1945 году в Ленинграде. Окончил русское отделение филологического факультета ЛГУ. Преподаёт английский язык и американскую литературу в гимназии. В 1976 году за участие в парижском сборнике откликов на высылку из СССР Александра Солженицына был репрессирован и в 1976-1980 гг. отбывал заключение в лагере. Автор двух книг стихов, изданных в Америке, двух романов, вышедших в Швеции, в Англии и в Финляндии, и ряда статей по проблемам русской литературы. Печатался в журналах «Время и мы», «Аврора», «Нева», «Вопросы литературы», «Континент». Живёт в Петербурге.

«С необычайной убедительностью судьба Геннадия Трифонова отразила на себе всё худшее, что есть в советском обществе: взаимную подозрительность, безнравственность, материальную нужду, неуважение к художественному творчеству. То, что другим, более сильным людям, удастся преодолеть, Геннадию Трифонову преодолеть не удалось, и он испил до конца всю чашу бедствий. Но его горестная жизнь не замутила чистоты его поэзии и прозы, его прекрасной любовной лирики».

*Давид ДАР, «Время и мы» № 48, 1979 (Тель-Авив, Израиль).*

«Геннадий Трифонов — наиболее утонченный, наиболее горестный и самый любовный поэт Ленинграда, получивший страшный опыт ГУЛАГа. Лиризм его прозы, еще только набирающей силу и глубину, во многом подчиняется его стихам».

*Константин КУЗЬМИНСКИЙ, «The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry», v. 5 collection of writings by underground Soviet poets, 1982, Texas, the USA.*

«Геннадий Трифонов — замечательный поэт, чьи стихи и проза уверенно войдут в историю современной русской литературы даже и в том случае, если он будет жить, любить и писать об этом вдалеке от России, где сегодня его жизнь и судьба наполнены отверженностью и непониманием».

Проф. Саймон КАРЛИНСКИЙ, «*The New York Review of Books*» No. 6, April 10, 1986.

«Переводы стихов и прозы Геннадия Трифонова производят здесь, на Западе, сильное впечатление своей открытостью, искренностью, высокой культурой чувственных переживаний. Можно только догадываться, как написанное этим много испытавшим человеком звучит на его родном языке. И страшно подумать, что русский читатель, возможно, уже никогда не прочитает ни этих стихов, ни этих романов».

Микаэль ХОЛЬМ, издатель журнала «*Revolt*», 1978 г., Стокгольм.

«В 70-е годы его сочинения попадали на Запад из-за колючей проволоки и были переведены здесь, у нас, а так же в Англии, в Швеции и в Германии. Сегодня мы имеем возможность прочитать в английском переводе его новый роман «ДВА БАЛЕТА ДЖ. БАЛАНЧИНА». Автор романа показывает нам русскую жизнь с той стороны, с которой она менее всего известна заокеанскому читателю. Я горжусь тем, что в далекой России у меня есть друг, давний друг, многое понимающий и многое чувствующий в сложном лабиринте человеческих отношений».

*Проф. Чарлз Дж. МакДЭНИЭЛ, журнал «ЛИБИДО», Чикаго, 1999 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Два балета Джоржа Баланчина.  
Из жизни доктора Ю. А. Ирсанова.

**7**

Антиной во льду,  
или мир Геннадия Трифонова.  
*Алексей Пурин.*

**192**

**Т 69 Г. Трифонов**

Два балета Джоржа Баланчина. Из жизни доктора Ю. А. Ирсанова. Роман. (Послесловие А. Пурина.) — СПб.: ИНАПРЕСС, 2004. — 208 с.

ISBN 5-87135-152-2

УДК 882

ББК 84(2Рос-Рус)6

Роман Геннадия Трифонова посвящен любовному чувству, без которого человек не может состояться. Это азартное повествование о бурном юношеском выборе, о трудном обретении зрелым героем самого себя, о невозможной победе над рутинной существованием и случайным временем, размывающим человека.

Разошедшийся на цитаты роман (оборванная журнальная публикация в самом начале 90-х) был оперативно переведен на Западе, где привлек благосклонное внимание ведущих критиков (см. выдержки, приведенные на последних страницах книги) и таким окольным путем достигает и русского читателя.

**Трифонов  
Геннадий Николаевич**

Сдано в набор 11.08.03. Подписано к печати 19.09.03

Формат 84Х90/32. Гарнитура Балтика.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,3. Уч.-изд. л. 13.

Заказ 521

Издательство ООО "ИНАПРЕСС"

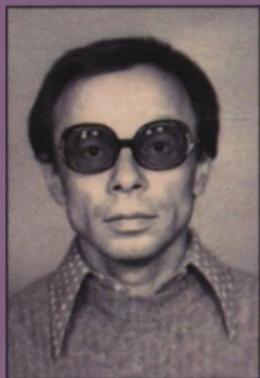
С.-Пб., Невский пр. 74

[inapress@peterlink.ru](mailto:inapress@peterlink.ru)

Отпечатано с готовых диапозити в типографии

ГИПП «ИСКУССТВО РОССИИ»

199099, С.-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2



Роман Геннадия Трифонова посвящен любовному чувству, без которого человек не может состояться. Это азартное повествование о бурном юношеском выборе, о трудном обретении зрелым героем самого себя, о невозможной победе над рутинной существованием и случайным временем, размывающим человека.

Разошедшийся на цитаты роман (оборванная журнальная публикация в самом начале 90-х) был оперативно переведен на Западе, где привлек благосклонное внимание ведущих критиков (см. выдержки, приведенные на последних страницах книги) и таким окольным путем достигает и русского читателя.

ISBN 5-187135-152-2

